

СТОЛ, ПОКРЫТЫЙ СУКНОМ И С ГРАФИНОМ ПОСЕРЕДИНЕ

Повесть

1

Он — простоват. Из всех сидящих за столом он замечается первым и сразу: возможно, потому, что все это время он тебя ждал. («Ага. Вот ты...» — выстреливают его глаза, как только ты входишь.) Он худой, он невысокого роста; пролетарий (самое большее, техник), постоянно чувствующий себя обманутым в жизни, обделенным.

Грубо разбуженное социальное нутро (когда-то, ходом истории) в таких, как он, все еще ярится, пылает, и потому я мысленно называю его *Социально яростным*. В быту он добр, носит фамилию Аникеев, обычен, немножко угрюм. Его толстая жена каждый год уезжает на далекий курорт и немедленно находит себе там мужичка точь-в-точь такого, как он, и даже непонятно, зачем это ей (разве что для сохранения привычек). Он догадывается, но мало-помалу принимает как данность жизни. Грозит, что убьет, впадает в гнев, но потом сам же себя уверяет, что ему почудилось и что он просто взревновал. Главное же — так мало благ! У всех в жизни что-то есть, схватили, хапнули, поимели. Даже торгоши, такие же темные, как он, а вот ведь процветают. Тем более ухватили свое интеллигенты. А почему? А ведь должно быть так, чтобы люди

у нас имели поровну. Или нет? — и, спрашивая, он поскрипывает зубами.

Простоватый и пьяноватый, он улыбается (на лице неуверенно плавающее добродушие). Нет, он не пьян, он и грамма не взял в рот сегодня. Но вчера или позавчера он выпил крепко. Так что время от времени поверх его улыбки (или как бы изнутри улыбки) возникает мутный позавчерашний взор, агрессивное чувство, схожее с вдруг обретенной злобой, потому что пил он вчера и позавчера, но врага-то, в сущности, найти может только сегодня, сейчас... Нет, нет, он порядки знает и потому не ощерится на тебя, не взъярится криком: он сдержан. Он ничем пока не даст знать о своем открытии, обнаружении, он лишь гоняет медленно желваки и, вбивая в тебя встречающий взгляд, произносит в мыслях, пока никому не слышно:

— С-сука!..

Он в дешевеньком, но неплохом свитере, у горла воротничок чистой рубашки. Он ведь пришел и сел за судный стол не просто так — ведь дело, притом разбираться надо, выяснять, и чтоб честно... и он косит глазом туда, где рядом с ним, чуть левее, если смотреть с его точки зрения (и чуть правее — с твоей), сидит мужчина, который обычно задает вопросы.

Тот, кто с вопросами сидит почти в центре стола, и он тоже один из замечаемых сразу. Задавая вопросы, он как бы дергает тебя несильно из стороны в сторону, уйти не дает и наводит на твои следы других, он *наводящий* (когда тебя спрашивают, ты же еще не знаешь, в какую сторону побежишь, — по кругу бегут преследуемые животные, но как и

куда в растерянности бегут люди?) — он не добивается вопросами до глубины, это не его дело, это дело общее, но он ведет гон.

Вдруг возникающие его вопросы (стремительные, мелкие) создают как ощущение преследования, так и ощущение того, что ты от преследователей прячешься. «А почему вы сами не могли позвонить нам хотя бы вечером и сообщить, что больны? что, кстати, вы делаете вечерами — телевизор? футбол? или друзья?..» И ответа тут нет, потому что и вопроса как такового нет, но ведь ты молчишь и не успеваешь. Не сбили, но ты сам неизвестно отчего поплыл, поплыл, поплыл, и твоя по-человечески понятная растерянность дает простор новым вопросам, и вот оно, пространство его охоты. «И вы никому решительно не можете позвонить вечером и поговорить по душам? Так всегда и живете?» — спрашивает он с улыбкой недоверия, и снова вкрадчивый вопрос без ответа (и снова наплывает, мол, что же за человек такой, если за всю жизнь не нашел дружка-товарища, чтобы поговорить вечером по душам?). Не успев вновь ответить, отмечаешь свой неприятный душевный сбой.

И сидящие за столом твой сбой отмечают. И только он, задавший вопрос и наведший на первый след, ничего как бы не видит и продолжает — теперь он уже забегает, слегка скользя, совсем с другой стороны: «Ну а женщину как человека вы хотя бы цените? уважаете, вероятно?» — и снова: мол, каков тип? и как это он свою жизнь, такую долгую, жил?! — повисает в воздухе без ответа, чтобы когда-то и чем-то аукнуться (утраченная отзывчивость не может не аукнуться).

Тот, кто с вопросами — интеллигент. Он темново-
лос, гладкие черные волосы и строгая, хорошая ли-
ния головы, подчеркнутая поворотом шеи. Его ру-
ки — на столе, длинные красивые пальцы перепле-
тены без нервности или, пожалуй, с некоторой
вялой нервностью, ничуть не высвечивая темпера-
мент. Речь скоро. Вопросы. Нет, он не настаивает
на улыбке. Но улыбается. Вероятно, среднеоплачи-
ваемый инженер в НИИ, вероятно, иногда сам про-
веряет итоговые расчеты, склонив голову, все с той
же хорошей линией, подчеркнутой в повороте шеи.
Молчалив. Зато здесь, за судным столом, он ожив-
лен и напорист, стараясь не для себя, а для людей,
для общества. «Что ты за человек?» — вопрос без
ответа, и все же вопрос заданный и неснятый: та
дверца, в которую первым толкнется всегда он.

Рядом с ним — *Секретар-*
ствующий, мужчина как бы всегда моложе средних
лет, неуловимо моложавый возраст. Он сидит в
точном центре стола — напротив тебя. Графин на
столѣ разделяет вас, и кажется, что *Секретарствую-*
щий должен выглянуть из-за графина справа или
слева, чтобы увидеть тебя, задавая вопрос. Он так
и делает. (Но спрашивает редко.) Большую часть
времени он пишет, ставит на листке значки, отме-
точки, авторучка в руках. Если чей-то вопрос ока-
зался для тебя (и для него) внезапен, он, ожидая от-
вета, смотрит на тебя не сбоку, а поверх графина.
Графин невысок.

Стаканы на столе расставлены вдоль и объеди-
няют сидящих и всю картину в целое — иногда над
стаканами нависают бутылки с минеральной во-

дой, но графин не отменяется: графин все равно будет стоять и как бы цементировать людей и предметы вокруг. Наличие геометрического центра придает столу единство, а словам и вопросам сидящих силу спроса. Именно атрибутика, как ни проста, делает спрашивающих — спрашивающими, заставляя тебя их признать и испытывать волнение. И перед приходом сюда, за стол, себя настраивать: храбриться, скажем, или глотать валерьянку (спиртное нельзя).

Все взаимосвязано — они могут своими расспросами вызнать, что полгода назад ты вновь уволился с работы (ну и что?), могут узнать, что твой сын вот уже в третий раз женился и разводился (ну и что?), могут припомнить, что ты сам добывал для своего нелепого сына фиктивные больничные листы, устраивал прописку на жилплощадь, прописку, а потом и перепрописку (ну и что?..). Оттого и опасность, что не суд, а, так сказать, спрос по всем пунктам и именно с целью зацепить за что-либо и тебя ухватить, а уж ухватив, они сумеют припереть к стене. (И смолкнешь. И покаянно свешишь голову. И почувствуешь вину уже за то, что живешь: за то, что ешь, что пьешь, что опорожняешься в туалете.)

Есть личное: у каждого найдутся обиды на жизнь и грешки вслед этим обидам. Есть еще и сложные шероховатости души и просто мелочовка отношений; есть скользкие места внутреннего роста и есть бытовые козявки (всякого рода); наконец, и бельишко, в детстве, когда ты писал и какал в штаны, — вот именно: у каждого имеются эти порванные рубашонки, закаканные штанцы, шелуха, сор,

козявки и запятые быта, все они (как ни удивительно) взаимосвязаны, и все как бы разом приходят в движение под перекрестным прицелом сравнительно безобидных вопросов. И, словно придавленный этой взаимосвязью и торопливой сплетенностью жизни, ты тоже тороплив, когда отвечаешь. На один-другой-третий-пятый-десятый вопрос. И ведь всегда со страстью, с придыханием и с нарастающим желанием давать ответ на каждый из них все точнее и убедительнее. (И даже правдивее, чем колеблемая правдивость самих фактов, которые вдруг выныривают из твоей жизни, из твоего житейского замусоренного бытия только для того, чтобы попасть в твое же, оправдывающее их сознание... кажется невыносимым! однако же ты с удивительной терпимостью выносишь, и отвечаешь, отвечаешь, отвечаешь.)

Конечно, бывает, чтоходишь к ним смел, держишь голову высоко, а огрызаешься и кстати, и весело. Но красивая твоя представительность, увы, ненадолго, и с каждой минутой их расспросов боевой дух уходит, вытекая, как теплый воздух из воздушного шарика, в котором дырка. (Не от их наскоков, а сама по себе дырка, сама отыскалась, и сам по себе улетучивается через нее твой теплый воздух. Ты проколот изнутри. И твое лицо способно лишь прикрыть, но не скрыть.) Так что им только и надо растянуть свой какой-никакой суд подольше, чтобы минута за минутой и чтобы слово за словом. Ты пустеешь, легчаешь, и вот уже съезжившаяся тряпица воздушного шарика, пустынькая, стыдливая, ничего кроме.

Более того: тебя подтачивает теперь дополнительный стыд за ту отвагу (за наглость), с которой ты сюда вошел, — взрослые ведь люди, собрались вместе, сидят, тратят время, а ты к ним пришел и, едва поздоровавшись, валяешь ваньку.

«Его спрашивают, а он сидит нога на ногу...» Или чуть иначе: «С ним говорят, а он карандашик в руках вертит. Карандашиком не наигрался дома!» — их голоса вдруг с разных сторон (ты им уже ясен). Они не смели такое сказать, когда я боевито вошел, зато теперь голоса их отовсюду, так что я не успеваю ни про себя, ни про карандашик в пальцах, и только перевожу глаза с одного лица на другое, и наконец крик: «Вста-ааать!» — или: «Вста-аа-аань, когда с тобой говорят!» — крикнет кто-нибудь из них, забывшись. И ведь встанешь. Не успев понять, встанешь, никуда не денешься. (Как условный код этот крик и голос.) Встав, возможно, ты тут же и опомнишься и ответишь резко, хлестко, и даже, возможно, ты сам на них закричишь, срываясь в гневный крик, как в истерику, возможно, но... Но ведь ты уже встал. В том-то и дело, что ты уже встал. Ты уже стоишь, и твой нервный крик, прыгающие губы — это ты.

— Но бывает же, что вы сидите с приятелями и болтаете за полночь. Водочка, конечно. Шутите с ними, смеетесь?

(Спрашивающему хотелось, чтобы я жил полноценной жизнью.)

— Сейчас редко, — ответил я.

— У вас хорошая квартира, и ведь, наверное, вам иногда хочется созвать друзей-приятелей. Расска-

жите. Нам это интересно. Здесь все хотят узнать вас получше...

Он улыбался. И все они улыбались. Хотели знать, как, каким образом я живу (если живу) такой вот своей полнокровной жизнью. Они считают это первым наваром своего спроса — ни за что (то есть задарма) узнать, как крутится, как суетится обычный человек: мысленно пожить с ним рядом.

— У вас такой голос, что похоже — вы поете. В кругу друзей — да?

— Я не пою.

Они разочарованы:

— Ну-ну. Вы наверняка поете. И наверняка в большом кругу друзей и родни.

• Я покачал головой — нет.

И потянулась пустая пауза. (И вот тут без причины я потерял лицо.) Я спросил, уже тускнея:

— Это что — плохо?

Они закивали — ну да, в общем-то плохо, что вы так живете. Это плохо. (А чувство вины уже стало захватывать меня.) И, помню, подумал: чего я дергаюсь, ведь они правы, а я виноват, это же заранее известно: *я виноват, даже если бы в кругу родни я каждый вечер пел хором...*

Если говорить строго, заранее известна только половина, то есть только то, что они правы. (Это не значит так сразу, что я виноват.)

Всякий человек — человек живой, что и заставляет опасаться, что жизненные промахи, начиная с задранных в детстве штанишек и кончая каплями пота на моем лбу в ту минуту, когда спрашивают (а

почему вы, собственно, испугались?), — что промахи эти каким-то образом выглянут, засветятся, хотя никак с их вопросами не связаны. (Но ведь все связано, мы знаем.) Виноват не в смысле признания вины, а в смысле ее самоощущения.

— ...Все люди заняты, — сказал мне (по телефону, вечером) недовольный голос. — Не вы один. В конце концов, это нужно вам, а не нам — вам нужна характеристика, справка о зарплате, а также справка, почему и как вы уволились. Я уж не говорю, что лет через пять все эти бумаги вам будут просто необходимы для пенсии. (Еще бы!.. Это они особенно знают.) Потому мы и ждем вас.

— Я понимаю...

— Посидим вместе. Поговорим. Надо разобраться.

— Хорошо, хорошо. Я приду.

Сказал — и понял, не надо мне было соглашаться! (Как-нибудь бы уладилось.) С моими нервами и перебойным сердцем нельзя мне сидеть перед тем столом, нельзя, чтобы меня спрашивали — я же себя знаю. (Давление уже сейчас под двести, а вся ночь впереди.)

«Хорошо, хорошо — приду!» — и еще ведь швырнул трубку, мол, знай наших, мол, плевать хотел. Какой молодец!.. А между тем, сколько себя помню, ничего иного от этих сидений *перед* столом не получал — только унижение. Только ощущение раздавленности (в этом, разумеется, сам и виноват).

Не хочу. Не пойду, — говорю я себе, хотя конечно же пойду, если не с первого их приглашения, так с третьего, с пятого. Мне от них никуда не деться. (Штука в том, что эти люди за столом уже

как свои — часть моей жизни, они отлично меня знают, как и я их. Они омолаживаются, сменяя свой состав год от года, а я один и тот же, так что наши долгие отношения могут кончиться только моим физическим отсутствием, смертью — а чем еще?)

— Успокойся, — говорит жена.

— Угу.

— Будешь ужинать?.. Есть каша овсяная. Да, опять. Да, кашу лучше с утра, но молоко старое, надо было использовать.

Садимся ужинать. Зовем дочь. Мне не хочется признать (совестно), что мои нервы и мой испуг — в связи с завтрашним вызовом, и вот я что-то придумываю, плету насчет усложнившейся работы.

— Ну, и ладно. Ну, и успокойся... — повторяет жена.

Но разговор все равно переходит на завтрашний вызов, и я нехотя рассказываю, что завтра мне будет несладко — вздорные и копающиеся в моем нутре люди! Возможно, отделаюсь от них, но в душу наплюют. «Стерпи», — говорит жена. Мы ужинаем. (Соберется комиссия: просто поговорить и выяснить. Вот именно... выяснить, хороший ли ты человек. И заодно, хороший ли ты семьянин, хороший ли жилец в своем подъезде... что еще за комиссия?! — думаешь. Предполагаешь то и другое и пятое-десятое. А затем приходишь к ним и видишь, что ты эту комиссию (словцо идиотов) знаешь с незапамятных времен, с самого нежного и юного возраста. Да, да, сменяя друг друга, они всю твою жизнь только и выясняют, хороший ли ты человек. И все еще не выяснили!..)

— Перестань ворчать, — просит дочь.

Молчу. И они молчат. Мы мерно погружаем наши ложки в тарелки с кашей.

Скрывая волнение, я, видимо, его усугубил. Такое бывает. Следовало выпить побольше валерьянки (предварять надо, предварять! — говорил возившийся со мной в свое время врач), — следовало выпить валерьянки и расслабиться, а я сказал домашним, что утомлен и — скорей, скорей! — хочу лечь спать. День был нелегкий, так что домашние поддержали, и мы легли спать в одиннадцать (без чего-то одиннадцать). А в двенадцать случился приступ: глотание запоздалых лекарств, двукратное измерение давления и ссора: вызывать или не вызывать «Скорую помощь»?.. «Это опасно. Ты не представляешь себе, насколько это опасно!» — кричала дочь и даже грозила пальцем. Я тоже кричал. Жену трясло, она бегала от телефона ко мне и обратно, от меня к телефону — она, кажется, хотела звонить сыну (он живет отдельно). А сердце продолжало болеть: давило, потом вдруг предательски ослабевало. В глазах поплыли лица жены и дочери, за ними плыли стены и далекое окно со шторами. «Не дать бы дуба», — подумал я; смерть предстала не пугающе, а в такой прозаической простоте, что я перестал спорить. Притих.

Я просто лежал. Прикрыл глаза. И негромко сказал своим:

— Ложитесь... Давайте спать.

И простота голоса их убедила. Они легли. И через какое-то время уснули. Сначала дочь. Потом жена.

Я лежал в прострации; теперь мне особенно не хотелось признаться себе (не говоря уж о родных), отчего вся эта боль в сердце, и общая озабоченность, и суета ночи.

Я даже подремал. Когда перевалило за час ночи, слыша вновь подступающее волнение и через два на третий экстрасистолу в сердце, я поднялся. Я сидел на своем диванчике, свесив босые ноги. (Предварить приступ?..)

Сунув ноги в тапки, я вышел в наш небольшой коридор и прошагал неслышно на кухню. Темно. Тихо. За окном (я глянул) тоже темь — спящие дома, крыши и пустые темные балконы... *надо бы сварить валерьянку...* До сознания (вдруг) доходит, что жизнь как жизнь и что таких вызовов на завтрашний разговор было сто, двести, если не больше. Тянулся через годы долгий мелкий спрос; мелкий, но, в точности как и сегодня, вгонявший тебя в волнение, в непокой и в раздрызг. Вдруг понимаешь главное — повод (для спрашивающих) был неважен. И всегда был он им неважен. Им важно было совсем иное. Поняв это, ты садишься на стул (на кухне, среди ночи) и, смирясь уже и не ругая себя, не кляня, подпираешь голову рукой и ноешь от подкравшейся внутренней боли.

— Н-нны-ы. Н-нны-ыыы... — несколько раз.

А ночь идет.

Когда я брожу по ночному коридору, от комнаты до кухни и затем обратно (иногда на кухне я сяду на стул, посижу), мне кажется, что, совпадая с шагами, мое сердце делается защищеннее. В ритме шагов — ритм покоя.

Я не хочу еще одних ее (жены) ночных хлопот, не хочу ее тревоги. Я тихо брожу, кутаясь в какой-то старый плащ (не ношу халатов, у меня нет халата) — кутаясь, потому что мне зябко.

Страх как такового нет, но это ведь как взаимное соглашение: страх точно так же не глядит мне в лицо, как я не гляжу в его. (Зато он накатывает изнутри, выходя на поверхность где-то у середины моего позвоночника. А я воспринимаю как зябкость.) Я хожу: я честно стараюсь занять ночное время. Я подготавливаю таблетку на случай подскока давления; нитроглицерин, конечно, тоже. Не спеша завариваю на кухне валерьяновый корень (капель в продаже нет, в аптеках в эти дни ничего нет). Я, в общем, сам по себе; мне без сочувствия проще. Если жена встанет, она увидит со сна бродящее, в шлепанцах на босу ногу и в плаще, некое существо — постаревшее, согнутое бессонницей и тревожными мыслями, сменяющими одна другую. Существо, похожее на больное животное, вдруг блеснет из темноты коридора на нее глазами (и только тут она узнает, признает меня). Конечно, она станет жалеть и успокаивать (я этого не хочу, это меня еще больше сгибает), но, прежде чем успокаивать и жалеть, будет этот краткий ночной миг удивления, это недоумение, когда она вдруг увидела идущее по коридору со стороны кухни сникшее тело, в старом плаще, перекосившемся на плечах (плащ давно без пуговиц), и поняла, что это существо — ее муж.

Помню совсем уж мелкий (и почти забывшийся) случай. Год назад, когда очереди были огромны, в одной из них случилась драка. Я стоял слишком близко от кричащих и затем сцепившихся друг с другом людей: уже пошли в ход кулаки, хватанье за грудки. Милиция подоспела, как всегда, вовремя, но, как всегда, не с той стороны — они замели сразу человек десять, меня в том числе (как водится, брали всех подряд). Потом отделение милиции, руки за спину — разберемся! разберемся! «Отпустим, отпустим, вот только документы ваши посмотрим, как это нет с собой документов?!» — но сами решать милиционеры почему-то не стали: попросту и с лентой они отфутболили весь улов в сторону общественности: «Всех — в комнату с таким-то номером! (Кажется, номер 27.) Всех, мать вашу, в двадцать седьмую!..»

И когда под шум и разноголосые крики я вошел в комнату номер такую-то, то увидел дубовый стол и сидящих людей — и сразу же — знакомый мне тип немилицейского мужичка, довольно простого, как бы из работяг, как бы *Социально яростного*, с лицом, еще не перекошенным злобой (но готовым перекошиться); оглядывая меня, он приговаривал пока спокойно:

— А-а. Входи... — как старому знакомому.

За ним я увидел и других, там сидящих. Они уже успели собраться. (С делом управились за полчаса, и не помню, называли ли они себя — комиссия.)

Один из них, разумеется, был *Секретарствующий*.

— Садитесь, — сказал он.

Возможно, память подводит, возможно, что милиционеры сами запротоколировали и только по-

том сказали, что им недосуг заниматься драками в очереди и всяким вздором. Мол, дело, скорее всего, ограничится штрафом, но... поговорить надо. (И тут же направили в другое здание — в комнату с дубовым столом и сидящими там гражданскими людьми.)

Так что уже на другой улице и в другом помещении я увидел этот здоровенный дубовый стол, где сразу же бросилось в глаза лицо знакомого мне *Социально яростного*, и он — он тоже меня как бы узнал — сказал:

— А-а. Входи...

И я вошел. И увидел остальных. Это были те же самые люди.

2

Старик сидит в самом торце стола — с правой стороны. Крупноголовый, седой, он значителен, и, конечно, он добр, и потому-то положительные чувства (и часть надежд) в моих расчетах связаны прежде всего с ним — *Старик* все знает. (Он вникает в суть; он не сводит счёты и не мельтешит.) Он будет спрашивать, не мелочась в словах и не роясь в поступках: ему не надо ни давить, ни сбивать тебя с толку, набирая очки на твоей растерянности, — он хочет истины: он *Старик*.

И когда тебя спрашивают, и дергают, и тычут, не давая успеть оправдаться, ты помнишь (все время помнишь) — *Старик* среди них, он-то видит, как спешат они с осуждением, как не дают слова сказать и как наработывают себе удовольствие, с легкостью искажая твою вину (есть вина, я знаю, но

она не столь вульгарна!), — он видит и знает; он мудр. Время от времени ты ведешь глазами в его сторону, мол, он здесь, он присутствует, хотя и молчит. (Молчащий умный *Старик* — это тебя задевает. Это больно, и это обидно. Но надежда есть.) Соседствуя с ним, сидит *Седая в очках*, пожилая седая женщина с несколько восточным лицом, и на ее слова и ее поддержку у меня также определенные надежды. (Я пожил; я понимаю людей.)

Далее (сдвигаясь к центру) мои ожидания сильно слабеют — там обычно сидит *Красивая* женщина, раздраженная уже тем, что тратит на копанье в чьих-то судьбах свое время (свое золотое время; уходящее время). Она капризна, и надежд моих здесь нет. Еще далее, про двух сидящих там сравнительно молодых мужчин и вообще говорить нечего. И надеяться нет смысла: волки.

Я пришел в тот день на свое бывшее место работы (уволился оттуда со сложностями) — я еще только собирался прийти, я позвонил и уже по телефону (по их ответам) почувствовал, как страстно они там оживились: ведь они теперь будут решать, *от них я завишу!*.. В назначенный день я увидел длинный-длинный дубовый стол, и все они там сидят, знакомые мне по прежней работе и незнакомые (но все равно знакомые) люди — я вглядывался в стершиеся за десять лет лица, в морщины, в лысины (можно ли вглядываться в лысину? — можно), я видел раздавшиеся тела, седины, и здесь же был человек, незнакомый и молодой, который даже привстал в предвкушении, потирая руки. «Ну, начнем судилище?» — бросил он, улыбаясь, с красивым и, пожалуй, породистым оскалом. (Отличный,

конечно, парень. Крепкий. Свой.) Я тогда впервые услышал это пренебрежительно-домашнее словцо «судилище» и тут же увидел его зубы — молодые, белые, полный рот. Волк, подумал я почти с восхищением.

Рядом с ним сидел тоже молодой — такой же. (Их двое.) А уже за ними, в центре стола, всегдашний *Секретарствующий*. Судилище — это прежде всего стол, за которым человек десять-двенадцать, и все они с одной стороны стола (двое в самых торцах, сидят, замыкая фланги). А другая сторона стола свободна — она твоя. И один-единственный стул посередине, на котором с этой, свободной стороны сидишь ты. Так что их вопросы или вдруг окрики налетают довольно широким фронтом. И ты в ответ только поворачиваешь голову — налево или направо.

Именно *Молодой волк* в один из прошлых спросов подловил меня на моем брате, болеющем душевной болезнью. В ровном течении всякой жизни (моей тоже) обязательно есть несколько *бьяк*, как их называл один работник собеса, или *запятых* — как их называю я. Эти-то запятые и бьяки вызывают, как правило, особенно пристальный интерес при всяком расспрашивании, а зацепив за неприметный краешек такой бьяки, за остренький кончик запятой, умеющие люди, вслед за ней, выволакивают мало-помалу и всю твою душу, вываживая ее, как вываживают рыбу из глубокой воды. (Они не спеша будут подтаскивать на совсем небольшом крючке, но на прочной леске. Они будут подтягивать все ближе. А ты будешь метаться, чтобы душа сорвалась и сошла с крючка, уйдя в темные глуби-

ны — там ее жизнь.) *Волк* сразу углядел больного брата:

— Вот вы ездили за границу два года назад и ничего о брате не написали.

Я ответил: такого вопроса в анкете не было.

— Но ведь был вопрос — где ваши родственники работают? А вы скрыли. И с умом скрыли. Написали какую-то приблизительную чушь про завод...

— Он работал на заводе.

— Вы прекрасно знали, что на заводе он лишь прикреплен и притом временно. Он нетрудоспособен — зачем вы это скрыли?

Тут я запнулся. Конечно, следовало на той бумаге писать правду (но ведь брат и правда первое время работал), я мог бы это вполне приемлемо им объяснить, не скрывая. Но там были менявшиеся от времени и уже забытые подробности... я запнулся. Случилась пауза — и они тотчас подсекли и начали подтаскивать рыбу ближе.

— Что у него за болезнь?

— М-м, — я опять (и уже по инерции) запнулся. — Я точно не знаю.

— Вы не интересуетесь жизнью брата? Это родной ваш брат?

— Да.

— Вы его не навещаете, не ездите в гости? Вам ведь не все равно, что с ним и как с ним?

Пауза. (Не дают ответить. Прессуют одно к одному.)

— Неужели вы не знаете, как диагностируется его болезнь?

Пауза.

Я хотел ответить, что, конечно, я знаю, но знаю

приблизительно, я же не медик, и невнятная терминология нетипичного шизофренического заболевания для меня сложна. Но я уже не успел. Краска бросилась мне в лицо. Я мялся, мямлил. *Даже не знает, чем болен его родной брат*, вот что висело в воздухе, вот где они подцепили, вода теперь на крючке мою заматавшуюся душу.

— А какие у вас отношения с родителями? Родители старенькие?.. Они живы?

Полезли внутрь. (Я отвечал им, уже сбитый с толку.)

— Когда вы к ним ездили в последний раз?

Ответил.

— А точнее?.. Вы не помните числа, когда вы ездили к матери?

И сбоку, с правой половины стола, *Женщина, что с обычной внешностью*, спрашивает с чуть слышным надрывом:

— Сколько лет вашей маме?

Растерянность была такова, что даже тут я запнулся. Сбился. Сказал, конечно, какого мама года рождения, но зачем-то после этого начал считать годы вслух.

В таких случаях, если уж отвечать, надо просто и быстро сказать: с такого-то года, — и тут же умолкнуть. (Мамины годы вовсе не их дело. Зачем им они?) Но расставляющая все по местам мысль приходит, увы, позже. Впрочем, она приходит и загодя (зачастую ночью) — это и есть ночные наши заготовки, продуманные до мельчайших оттенков ночные ответы, которые уже по-иному устраивают и организуют диалог, готовя тебя к завтрашнему вопросу. (Мой брат — всего лишь бяка. И вот уже вклю-

чается вся твоя психика, чтобы заранее возвести защиту и как бы стеной окружить сложные моменты твоей жизни.) *Вид шизофрении* — вот весь ответ, вот как следовало. «Пошли, мол, вы...» — и ни слова им, ни звука больше. И чтоб резко. И чтоб в выражении лица та злая распахнувшаяся открытость, когда уже и самый изощренный не станет слишком допытываться, когда заболел твой брат и чем конкретно. В злом лаконизме первого твоего ответа исключение последующих подробных расспросов. *Моя мама стара, и не надо вам о ней.*

Ночные мысли не только осторожны (предусмотрительны к завтрашним вопросам), но и проникновенны; в том смысле, что проникают подчас туда, куда ходу нет, — в их подкорку. Подкорковый слой начинается с ночного узнавания того, как бы они, мои судьи и допрашиватели, повели себя, если бы высшие силы вдруг раскрепостили их, открыв их желаниям возможности напрямую. («Снять покровы» — это когда все позволено. Делай, что тебе хочется, и прямо сейчас же. Никто и никогда не узнает.)

Социально яростный в этом плане наименее интересен: для него здесь только навар. (Нечто конкретное, что, пользуясь случаем, можно поиметь с меня, бедного.) Не алчный, он вполне удовлетворится, если я принесу ему копченой рыбки или вяленого леща. Так что, если раскрепостить, он, пожалуй, прямо сейчас поспешит ко мне домой, чтобы бегать там из дальней комнаты на кухню и обратно (у меня два холодильника, как и у многих в эти тяжелые времена, когда надо запасть про-

дукты, не надеясь на магазин) — бегать, хлопать дверцами моих холодильников, двигать там банки и искать леща. Нравственный навар для него уже в том, что я выказал слабинку, предложив рыбу и дружбу.

Другое дело *Старик*; даже в ночных и по-особому чутких мыслях я не могу предположить, чего ему хочется — ему нужен трагизм. Ему нужно, чтобы я понял, что жизнь нелегка. (Мотив старости.) Ему нужно, чтобы меня не просто задержали вопросами и унизили, но чтобы еще и засекли, пытали, растягивали на примитивной дыбе где-нибудь в подвале, а он бы *после этого* меня, может быть, оправдал и пожалел. (Никакого преувеличения. Речь ведь о скрытой движущей пружине его психики: о тайном и сокровенном желании, которого он и сам, скорее всего, за собой не знает. Но чуткая ночь знает все. Или почти все.) Он слишком стар и мудр, и ему жалость не в жалость, если меня не засекли в кровь, не поломали мне кости в подвале и не вытянули жилы на высокой дыбе. Он бы снял с дыбы. Он бы сам снял меня с дыбы и носил на руках, сильный, жалостливый старик — он бы носил на руках, чуть покачиваясь при шаге, и чуть слышно бы пел песню, как старая нянька. Он бы жалел.

Конечно, стол связан с подвалом. Это одно из естественных свойств стола, такое же, как крепость его дубовых ножек или его длина (ведь он должен быть довольно длинным, чтобы все они уселись по одну сторону). Связь стола и подвала субстанциональна, вечна и уходит в самую глубину времени. Скажем, во времена Византии. (И Рима, конечно, тоже, тут у меня нет иллюзий.) Как бы интелли-

гентно или артистично (вразброс) ни были поставлены на нем бутылки с нарзаном, стол всегда держался подвалом, подпирался им, и это одно из свойств и одновременно таинств стола. И следует счесть лишь случайностью, если их связь вдруг обнажается напрямую, как при Малюте или, скажем, в подвалах 37-го года, — в слишком, я бы сказал, хвастливой и откровенной (очевидной) форме.

Оттого-то, уходя с самого простенького обсуждения-судилища (все равно какого, пустячного!), ты невольно веселеешь и ободряешься духом. А заодно (где-то в подсознании) чувствуешь, что ты не миновал, а всего лишь на этот раз проскочил. И что непременно будет следующий раз. И что некий главный *стол с сукном и графином и с людьми по одну сторону* еще впереди. (Этот стол еще только готовится.) Вполне возможно, что для тебя опять обойдется. И все же не слишком-то веселись, выскочив сейчас из воды сухим.

Бывший многоразовый зэк дядя Володя говорил (неясно, по какому поводу) — будучи сильно пьян, внедрял всякому проходящему мимо:

— Радуетесь?.. Погоди. Мы еще намочим в штаны.

Была в его голосе убежденность в неумолимости некоего (для всех нас) предстоящего спроса. Но бывший зэк скоро скисал, переставал пророчествовать. Сидя на дворовой скамейке и свесив голову, он говорил теперь о своих многочисленных женщинах (они его забыли, уже забыли!), — на улице тихо; только слышен его сбивающийся смех, бормотанье:

— Ха-ха-ха-ха-ха... Сисястая... Луизка... Раком...
Вьетнамский ковер...

И так отстраненно (нестрашно) наплывает из прошлого подвал, куда тебя привели — доставили так или иначе под некие сырые (может быть, и не сырые, а теплые) своды, где будут бить. Подвал оказался большой и широкой комнатой, но с низким потолком — огромная низкая комнатища, где ты застаешь бытовиков-палачей несколько врасплох. Один из них встал и с неудовольствием смотрит на входящую охрану и на тебя, приведенного для побоев, — в руках его кружка с чаем, металлическая кружка былых лет (он грызет кусок сахара, не рафинадный рассыпчатый параллелепипед, а именно кусок, бесформенный кусок тех же былых лет). Он пьет сейчас чай вприкуску — он из тех, кто бьет ременным кнутом, кто засекает до полу-смерти, рослый, с умным взглядом и красиво очерченным высоким лбом. (Он пьет чай, держа кружку, и смотрит на тебя.) Второй палач рядом — коренастый, простодушно-дебильного вида — тот, кто бьет кулаком, увесистым своим железным кулаком. Зол. Бьет не только по необходимости и не только когда велют. (Оба они без малейшей подсказки напоминают двоих, что сидят — или сидели — или будут сидеть — за дубовым столом рядом: того, *Кто с вопросами*, и простягу *С социальной яростью*. Это они же.) Подвал — тот же стол с некоторой трансформацией, понижающей образ в сторону бытовщины... И тогда третий, что из глубины подвала движется навстречу, — кто он? Навстречу тебе (и тем, кто тебя приволок) из глубины подвала сделал несколько шагов заспанный молодой палач;

он только встал с постели. Тут у них кровати, сон; подсобка, чайники, чай — вид потертой, обжитой общаги, и только правая передняя часть подвала, где, вероятно, бьют и засекают, где много крови и соплей, выложена плиткой, так как вытирать с плитки много удобнее, чем с обыкновенного пола.

Молодой встал с постели, идет с нацеленным и, несомненно, волчьим любопытством, со смешком: «Гы-гы-гы-гы...» — предвкушает поправшую в руки жертву. Он гол по пояс. На плече витиевато гнется жирно выколота роза, пониже предплечья еще одна татуировка: могильный крест над холмиком и подпись (прочсть невозможно, бугор мышц движется, смещая и смазывая строки в пятно). Четвертый... этот и вовсе сидит на постели и что-то зашивает, кажется рубашку. Опрятность и игла в руках наводят на мысль, что за дубовым столом, сам себя трансформируя, палач сделался бы женщиной, быть может, со следами красоты, и, как всякая *Красивая* женщина, он бы (она бы) раздражался на пустую трату времени: мол, сколько же можно человека допрашивать?..

Других пока не видно. Они в глубине комнаты. (Ты видишь лишь часть подвала у самого входа, через который тебя привели.)

Подвал как *продолжение* стола и стол как апофеоз подвала; в этой паре дневная мысль увидит не столько сопряжение времен (былого и нынешнего), сколько сопряжение вечно дополняющих образов: стол с красным сукном и сверкающим графином как Дон Кихот, с его достоинством и красотой старости, подвал — соот-

ветственно — Санчо, не стыдящийся своего бытового вида; почесывающий пузо, скорее всего, татуированное и грязное.

Помнят ли люди, сидящие за столом, свою незримую связь с подвалами? — вопрос почти риторический, и трудно ответить *да*, но трудно наверняка ответить и *нет*. Не столь уж и важно. Зато вместо них (вместо сидящих) помнит сам стол. *Стол помнит*, вот открытие, которое я делаю этой ночью, вышагивая по коридору взад-вперед и по-малу успокаиваясь.

Старый стол стоит себе среди ночи и все помнит (он и сейчас стоит где-то). Вспомнив, стол хочет в ночной тишине пообщаться с подвалом (полюбопытствовать, как там и что) — он начинает двигаться через скрипучие двери. Косячком, торцом стол протискивается и проталкивается наконец в ночной подвал. Как бы входит в него. Он хочет на миг совпасть, совместиться — такое вот движение образа в образ.

Старик. (Он ведь тоже может помнить.) Я доволен, что почти угадал старика: долгое время его мудрость, ум, гигантский опыт и его бесконечные годы (как туманы) — скрывали его от меня. Но теперь, кажется, я знаю, что сделает или чего не сделает принципиальный русский старик в свободном проявлении воли. Во-все не мудрость, а своеобразная глубинная жалость — пружина *Старика*. Подвал обнажил его суть. Движения древней души стали ощутимее. В спросе за столом ему не нужны подробности, не нужно и лукавое многословье: без долгих разговоров он отдал

бы меня в подвал к мастерам заплечного дела, зачем тянуть, оттягивать? — и, когда засекут, замучат, вот тогда он возьмет на руки, как ребенка, и будет жалеть. Он будет сострадать. Замучат, унижат, а он возьмет на руки и станет говорить: «Ты много перенес, сынок. Было необходимо, сынок. Я не мог поступить иначе...»

Он будет искренне меня жалеть. Он увидит, что конец, что смерть уже рядом, и станет думать о скорбности всякого жизненного пути. Да, он молчал. Он молчал все время, пока меня спрашивали за столом и пока мучили в подвале. Он все видел, все понимал и молчал. «Но теперь могу сказать тебе, что любил тебя как своего сына. И как сына отдал тебя в руки этим скотам. Так надо. Так надо...» И, держа на руках тело, он будет ходить взад-вперед до самого утра. Мудрый и жалостливый старик.

(Он ходит взад-вперед, и я слышу его шаги, поступь старых и тяжело натруженных ног.) И сам хожу — ночь вокрут, какая долгая ночь. Спит жена. Спит дочь. Спит весь дом...

Хуже всего, если захватывает дыхание: в легкие с каждым недостаточным вдохом поступает все меньше воздуха. Задышка. На лице, на лбу липкая испарина страха. (Опять сердце...) Мысль лихорадочно ищет — как? что?.. какое из уже много раз опробованных принять лекарство? или, может быть, напротив — не принимать ничего, лечь, закрыть глаза?.. Сажу перед столом, ящик выдвинут, и я быстро перебираю знакомые

коробочки, бутылочки с таблетками, конвалюты, лекарства, лекарства, лекарства — я (с учащенным дыханием) прочитываю их названия, повторяя одними губами, шепотом. Откладываю, беру новые — все это быстрыми, мелкими движениями пальцев. Я ищу. Подспудно же тем самым отвлекаю себя от страха. Перебираю, читаю названия: в сущности, работа аптекаря. И как всякая работа, успокаивает.

Еще когда укладывались спать и расходились по комнатам, дочь заметила мое скрываемое волнение. Скрыть от дочери труднее, чем от жены. (Потому что я все еще забываю, что она взрослая.) Сказала:

— Не настраивай себя. (То есть не настраивай себя на ночь плохими мыслями.)

— Что? О чем ты? — Я сделал вид, что не понимаю.

Тогда дочь сказала жестче:

— Ты хочешь, как Прокофьич, умереть среди ночи? (Это о нашем соседе.)

— Вовсе нет.

Она продолжала:

— То-то завтра ОНИ порадуются: и спрашивать с тебя теперь ничего не надо. И наказание свое товарищ уже получил. (Это если умру ночью.)

Я засмеялся. Она с юморком. Но про себя подумал — нет, нет, она молода, она пока еще их не понимает. Им вовсе не хочется меня наказывать, им хочется — вот именно! — спрашивать с меня, спрашивать как бы бесконечно, спрашивать сегодня, завтра, всегда. Выяснить подробности. Копать-

ся в душе. И каждый раз напоминать (не мне и не самим себе, а тому столу, за которым они сидят, его деревянным крепким ножкам) — напоминать о непрерывающемся отчете всякой человеческой жизни. И не для наказания, а исключительно для предметности урока им нужна конкретная чья-то жизнь. (В завтрашнем случае моя.) Место расспросов — узкое место. И если ты его проскочил, им ведь наказывать тебя уже не хочется, пусть его живет, понял, и ладно. Они не хотят твоего наказания, тем более они не хотят твоей смерти — они хотят твоей жизни, теплой, живой, с бьяками, с заблуждениями, с ошибками и непременно с признанием вины.

• Жена спит. Когда-то мы спали вместе и наша постель была заметно узка. Потом постель стала широкой, и мы все еще спали вместе, и, если кто-то из нас вставал среди ночи или рано утром, другой тотчас чувствовал отсутствие. (Начинало вдруг сбоку тянуть холодком. Чего-то не хватало.) Теперь мы спим отдельно, и даже в отдельных комнатах. И мне вполне хватает моего диванчика: мне всего достает. К этому надо быть готовым. *В конце ты опять один. Как в начале.*

Слышу ее дыхание за дверью комнаты, где она спит. Прохожу, стараясь быть тихим...

В том, что ночью столь сильно разыгрываются нервы перед всяким вызовом и разговором (нелепый тотальный страх), мне никак не хочется признаться жене. Вероятно, я скрыл (от себя и от нее) момент, когда этот набегающий страх пришел ко мне впервые. Я не признался — и теперь каждый раз мне приходится скрывать слабинку. Я все еще

держусь мужчиной, петушком. (И как теперь быть?.. а никак! вот так и выхаживать свой одинокий страх ночью.) Но очень может быть, что она знает и просто щадит мое самолюбие. Сама она всю жизнь боялась таких общественных разбирательств и судилищ куда больше меня, но не скрывала. И — привыкла. Но страх, как ни прячь, оказался итогом и моей жизни. (Мой личный итог.)

О чем бы ни спрашивали, они сумеют перейти к тому, как твои дела на работе. (Пробный камень. А уж после они чутко находят огибающую справа торную тропку. Умеют.)

Объясняю: так совпало — таково сейчас состояние дел. Они говорят — а как же ранимость? а как же ваша человеческая ранимость и совестьливость? И прежде всего вы должны были дать знать, что работа в отделе идет к развалу...

Я вспыхиваю:

— Оставьте в покое мою работу! Хватит!.. вы же не понимаете в ней!

Они могли бы тут же поставить меня на место — мол, среди них есть и квалифицированный инженер, есть и научный работник. (Могли бы придавить степенями и званиями.) Но они поступают умнее — дают меня долгой паузой; молчат. И мой нервный выкрик проявляется в подчеркнутой ими тишине как вздор.

А затем полноватый, солидный мужчина, которого я для себя (для простоты) называю *Бывшим партийцем*, говорит:

— И все-таки вопрос: почему вы не дали знать о развале работы заранее?

— Кому?

— Что ж тут думать — кому?.. Разумеется, любому человеку из высшего эшелона.

— Я так запросто с ними не болтаю. (Нервничаю.)

— У вас же есть телефон.

— Я так запросто не звоню начальству по телефону.

— Вы все делаете из начальства пугало. А ведь такие же, по сути, сотрудники, как и вы!.. к чему эта тень на плетень?

И опять я вспыхиваю:

— Да не звоню я по начальству!

— Пусть так. Но вы могли прийти на прием. Вы могли, наконец, просто столкнуться с человеком в коридоре — мол, так и так обстоят дела. Мол, в двух словах.

— Когда работа целого отдела давным-давно идет под откос, когда катятся в тартарары, — в таких случаях не говорят в двух словах.

— Ах, даже под откос! в тартарары?!. Значит, вы вполне представляли себе масштабы отставания?

— Но...

— Не виляйте. Отвечайте.

— Но я хотел...

— Не виляйте же: представляли вы себе масштабы отставания? или нет?.. Да или нет?

И в упор:

— Да или нет?

То, что я скажу «да», вероятно, уже видно на моем лице — «да» уже проступило и проявилось, как на фотобумаге (хотя я еще держусь). В согласованно-перекрестном вопросе непременно отыщется среди них кто-то (для данной минуты) всезнаю-

щий, чьи слова с вдохновением загоняют тебя в угол. И не потому вовсе, что тебе нечего ответить, а потому что они многолики, а где разнообразие, там и широта. Ты и ОНИ — это разная широта. Если наскок не удался, их многоразовое нападение прокручивается снова и снова, с другой и с третьей стороны, хоть пять раз, хоть десять, без ограничений, а вот если они приперли тебя, все уже как бы кончено — занавес задерживается. Никаких повторов. Теперь только отвечать с обрядовой жалкостью «да» и свесить голову.

— Да, — говорю я.

Бывший партиец вальяжен.

— Совсем и не спорит, — говорит он. (Обо мне.)

И обращаясь ко всем:

— Ума не приложу, как он выкручивался в молодости! Я имею в виду, когда он был горяч, когда каждая деваха уверяла, что теперь он обязан на ней жениться. (Шутка.)

Смеются.

Партиец не обязательно был членом партии. Он сидит с левой стороны стола, в торце, — объемный мужчина, так что ему там хорошо, свободно; ноги вытянуты. Локти, если утомился, он выложит на стол, не задевая соседей. Иногда — от чувства превосходства (я раньше принимал это за чувство относительной свободы) — он негромко насвистывает мелодию, что, в общем, не идет к его образу и облику. Но иногда. Редко.

Раньше он мог прикрикнуть, грозя райкомом («Вами займется райком!») или даже вмешательст-

вом в твое дело людей из госбезопасности. Разумеется, он только прикрикивал, брал на испуг. (Крик его приоткрывал: при властном вскрике распахивался просторный, полноватый пиджак, а галстук сбивался в сторону. Он знал, что в гневе его галстук сбивается, ему это нравилось (он поправлял не сразу). Но, увидев в этом порыве его глаза, напрягшиеся и как бы выкатившиеся вперед из рамки уверенного лица, ты понимал, что у этого сытого человека свои (и куда большие, чем у тебя) проблемы с точки зрения борьбы за выживание. Светло-серый костюм. Наметившийся животик. И болезненная суета, чудовищный напряг в достаточно жестокой жизни партийно-аппаратных джунглей.) Прикрикнув, он принимал прежний вид — сыто-холеный и спокойный. Больное сердце запрягивалось в складки жира, в покой. Он замолкал.

Уже в брежневское время (в конце эры) он начал терять влияние — другие люди умели, сидя за столом, и спросить лучше, и точнее, чем он, определить вину. Но он продолжал сидящих за столом считать фигурками. (Которыми он двигает в ходе судилища.) «Гм-м. Гм-м. Все правильно», — говорит он сам себе в легком самообмане (хотя отнюдь не он, а как раз другие жесткие люди тебя расспрашивают, уже припирая к стене). Мол, дело ведут. Мол, неплохо. Молодцы... Если же вдруг случается недожим, он вступает сам. На миг вновь мелькает в его лице что-то искаженное, глубоко запрятанное. Он произносит:

— Друзья! — он любит так обращаться. Нет, не перебирая в подлинном смысле произнесенного слова, а именно что бегло и просто — друзья?..

мол, что это за неожиданная заминка в нашей столь отлаженной машине? (Машине доверительного разговора.)

— Давайте-ка спросим, друзья, его откровенно. Мы же не судьи — мы хотим *помочь*... Мы хотим, — и он, помедлив, придавив взглядом, обращается теперь к тебе, — мы хотим узнать *ход ваших мыслей*, возможно, это важнее, чем ваши поступки.

Держит паузу. И затем добавляет с нажимом и властно:

— Рассказывайте!

И удивительно, что ты поддаешься его властной магии: ты вдруг впадаешь в доверие к этому открытому лицу с авторитарной улыбкой (и с несомненно завышенным чувством собственного достоинства). Слова твои как раз такие, какие он ждет, — искренние слова в их простой, непричудливой последовательности. Как и чем он их в тебе (из тебя) вызвал — трудно сказать. Но вызвал. Сумел. В нужную минуту он поруководил, направил, и теперь вновь расспросы движутся в русле, своим ходом.

Он *призванный*, он делится мудростью вопроса не от себя: от лица людей. Ему даже несколько лень их всех (за столом) слушать. Если мысленно обнажить суть этого человека, дать ему в эту минуту себя проявить полностью, то у него возникнет, пожалуй, лишь одно прямое желание: парить, как птица, в полусне над общим разговором (иногда сверху корректируя спрос). Главное в этом тихом номенклатурном полете — немного дремать; забыться. Другое его прямое желание — встать из-за стола и, подойдя ко мне, дать мне ногой в живот, в пах, чтобы я согнулся и в течение десяти минут корчился,

не в силах набрать воздуха в грудь. Вот как, мой друг, с тобой надо! — для начала только так. А уж затем, пожалуй, и впрямь он может оторваться ввысь, как отрывается крупная птица от воробьев, и, распластав крылья, парить высоко в воздухе над продолжающимся на земле спросом и разговором.

Спокойный и неущербный человек в светло-сером костюме, он, чуть щуря глаза, слушает, как тебя спрашивают (Как они все кричат! наскакивают... спорят... перебивают!), — он не торопится. Не торопится, потому что ценит свое мнение и не хочет, чтобы его (как всякого) одернули каким-нибудь вздорным криком. В брежневские времена его уже стали перебивать, если он говорил много. И потому он не спешит сказать: он выступает, когда все по той или иной причине смолкают. Редкая, но его минута. Он не выносит возражений: не хочет делиться иллюзией полной власти.

Он боится неуважения, даже самого малого, — вот его нынешняя слабинка. Как перенести, если он скажет свое слово, а его не услышат. (И в общем шуме даже не заметят, что он что-то сказал.)

3

Сразу за двумя энергичными парнями на правой стороне стола сидит женщина, которую можно означить, назвав *Красивой*. Говоря точнее, она *Почти красива*: интересная, статная и среди сидящих за столом в этом смысле вне конкуренции (одна такая). Ее не интересуют ни мои прегрешения, ни я сам. Ей, в общем, привычно, что кого-то терзают, будут терзать и завтра и послезавтра, и пусть! Уж так случилось, что этот

человек превратился в некую мишень, на которой собравшиеся оттачивают свой ум и пытливую злобу. (Мужчины бывают так вдохновенны в нападках на ближнего.)

Она капризна, раздражена. (Она тут сидит, а сын как раз пришел из школы. Муж... что за еду он там разогрел?) Ей сегодня томительно: мужчины скучны, вялы, терзают этого ссутулившегося и тянут из него душу, — сам он тоже противный, гнали бы его отсюда скорее!.. Не совсем влопад (истинная женщина) она вдруг бросает: «Как можно такому человеку верить? Как можно тратить на него столько слов! Вы сами себя не слышите!» — (неясно, кем она недовольна — ими? или мной?) «Вы хотите что-то предложить, Наташа?» — спрашивает *Секретарствующий*. «Нет!» — отрезает она и, чуть нагнув голову, вертит кольцо на пальце, плевать ей — как хотите!

Но тут же она с недовольством подымает глаза на *Того, кто задает вопросы* (разговорился дорогой товарищ, теперь его не унять!.. а время идет). *Молодой волк*, который сидит рядом, шепчет что-то ей на ухо, но она отмахивается и не слушает: ей не до него. (Ухаживания и шепотки ей осточертели.)

Но *Тот, кто с вопросами*, конечно, спрашивает. Он не потерял нить.

— Вы сказали, что очередь не состоит из людей.

— Я?.. (Я сказал только то, что сам я никого в очереди не ударил.)

— Вы сказали, что в очереди за продуктами уже не люди, а толпа. И если кого-то избили, то виноватых нет...

— Разве я это говорил? (Он меня втягивает. Он куда-то меня подталкивает.)

— Но послушайте. Мы все для чего-то сидим здесь и внимательно вас слушаем. Конечно, у нас нет магнитофона, но ведь у нас есть уши...

Молодой волк, который ближе к центру:

— Дядя думает, что в очередях бывает только он — а мы в очередях каждый день не стоим!

Красивая женщина, продолжая оставаться недовольной:

— Дядя вообще не думает.

Партиец:

— Друзья. Человек не может раскрыться, не захотев этого сам... А искренность его нужна не только нам, но и ему самому.

Партиец говорит умно и правильно и неосторожным словом не испортит дела (его имидж и без того пощипан временем; утрачивать дальше нельзя) — проверенными словами он наводит мост, и удивительно, как из ничего сплетается его (его и их общая) паутина. Сначала оплетается ум; затем начинается ныть душа (с первым ощущением вины). И ведь обычные люди (и подчас грубые), но как они научились умению навалить на тебя вину. Возможно, связь расспросов и чувства вины в природе спрашиваемого человека. И чем решительнее был отменен, дискредитирован, оплеван и превращен в ничто суд небесный, тем сильнее проявляется и повсюду набирает себе силу суд земной. (Суд земной не просто разрушает суд небесный — он отбирает немереную его силу в свою пользу.)

Оттого и привлекают человека к ответу по всей его жизни. И предъявляют ему счет, хотя люди такие же, как он. «Спрашивайте с меня то, в чем я провинился! Спрашивайте с меня за мой просту-

пок (как правило, ничтожный)! Но не за мою жизнь!» — хочется человеку закричать, завопить, вскочив со стула и вздымая руки как раз и именно к небесам. (И иногда человек кричит, нервы.)

— Сядь! — тут же кричат и приструнивают его. (Молодой кричит, из волков.)

— А ну, прекратите истерику! — кричат еще. (Женщина кричит. С обычной внешностью, похожая на пожилую учительницу.)

И человек садится, спохватившись (ведь и точно, истерика), — человек чувствует, что да, да, да, виноват. А они правы: к проступку или поступку (разве это не так?) ведет человека вся его жизнь; они и судят жизнь... Они ведь в эти минуты выше быта, людей, людишек. У них, разумеется, тоже грехи, они тоже люди и людишки, но не сейчас, не в судные минуты, когда им доверено и дано; когда они сопричастны Высшему Суду (и как-никак ему сподоблены). И потому так сложно их тяжелое единомыслие.

Модель подмены небесного суда земным выявляется довольно скоро, едва вошел *Старик*, который садится в торце стола справа и все-все-все понимает и мудро слушает (жаль, молчит!) — и сами собой садятся с правой же стороны и рядом друг с другом крепкие молодые люди, похожие энергией и хваткой на волчат, которые только ждут мига, чтобы грозно (и в улыбке показав белые зубы) прикрикнуть:

— Сядь! Сядь!.. Чего вскочил?!

Или напротив — сообразно ситуации:

— Встань! Как сидишь?!

В самом паршивом суде (в самом простецком районном нарсуде, с запахами, с неметеным полом и замасленными, оставшимися от скорой еды бумагами под скамьями) ты все-таки дышишь полегче: ты оплачиваешь свой жизненный прокол, сидя на скамье подсудимых, статьей «номер такой-то» или «такой-то», подпункт «а» или «б». Но в случае разбирательства за столом судилища ни статей, ни пунктов нет, и потому прегрешение тебе придется оплачивать всем ходом своей жизни. Больше нечем. Как человек своего времени, я уже не переменяюсь. И, как большинство из нас, так и останусь с образом Судилища внутри себя — с образом страшным и по-своему грандиозным, способным вмешаться во все закоулки твоего бытия и твоего духа. Но в области духа они все-таки не представляли собой Небеса. (Ты понимал. И утаивал кой-какие крохи.)

Взрывается *Соц-яр*, этот прост и уже сразу тебе тычет:

— Думал, ты один живешь — ты один в центре Вселенной, а?

Простой работяга, он начинает с центра Вселенной:

— ...Ты живешь в самой теплой серединке, а народ вокруг тебя трудится — так? Хлеб-масло ешь? Отвечай, я ведь спрашиваю прямо — хлеб-масло ешь?

— Ем, — отвечаю я.

И он тоже ест. Но ведь он с меня спрашивает, а не я с него. Поэтому хлеб-масло против меня. Если бы спрашивал я, я бы в азарте спросил тоже его корил хлебом-маслом. (И он тоже был бы виновен.)

Ярость его неумемна, он размахивает рукой. Сквозь плохие, частью потерянные и выбитые зубы летят блестящие слюны:

— Если все люди будут рассуждать, как ты, — хлеб-масло при мне, а остальное меня не касается, что будет?!

Он повторяет с нажимом:

— Что будет?.. Молчишь? Но тогда я тебе скажу, что будет, — жизнь замрет, вот что будет! свет в квартирах погаснет, и воды не будет! ты это пойми: троллейбусы станут! поезда станут!

И ты вполне его понимаешь про поезда: и ведь точно — станут. И свет погаснет. И воды в кранах не будет... Тебе удивительно: грубый мужичишка, затертые слова — а вот ведь достают тебя. Правота слов подталкивает битую душу еще на волос к чувству вины. Он прав. (Они правы.)

Молодой волк, как всегда, несколько прямолинеен:

— ...там ваша подпись. Вы тоже на том листке свою фамилию поставили — вы ведь помните свою фамилию?

Тот, кто с вопросами изощрен и в слове суховат:

— Не каждый шаг является целью. Но, разумеется, это не значит, что цели у вас не было.

(Давят.)

Партиец:

— А тот, за кого вы радели, перешел на другую сторону. Переметнулся — и вас еще и полил грязью!

И если ты отвечаешь приблизительно (а как тут можно еще?), *Партиец* весь подхватывается — так подхватывается профессионал среди дилетантов:

— Не расслышал, повторите!.. Повторите. Но не

меняйте слов, как вы обычно делаете, — я требую, чтобы он повторил слово в слово!

(Давят. Давят уже с нажимом. Чтобы сорвался.)

На левой половине стола сидят *Соц-яр*, *Тот, кто с вопросами* и еще *Партиец* (в торце стола) — вся агрессивная троица. Гляжу прямо перед собой, и потому лица их (боковым зрением) — как в молоке, в тумане.

И чуть что — народ. Чуть что — они о народе. Они знают мое слабое место (легко находят в российском человеке уязвимую нежную пяточку. Она на виду). Вина твоя не только возникает сразу: вина обрушивается. Огромная, завещанная веками вина. И мучительно ищется ответ. (И никогда вопрос — почему, собственно, они?)

...Почему твой брат был в лечебнице? (Вопросы уже горох; мелочи.) Почему ты переписывал своего сына дважды, нет, даже трижды? Почему сто лет назад, будучи пьяным, ударил ногой на повороте машину «Москвич», помял ей бок, был зван в суд (есть протокол) и как-то ведь сумел отвертеться — почему?

Среди них *Секретарствующий* — всегда более-менее спокойный *Секретарь-протоколист*, и первую реплику ты обычно слышишь от него, едва вступишь: «Проходите. Садитесь...» Ты почему-то сразу вперяешь в него взгляд, первый тебе кажется главным (промашка почти всякого входящего). Следует повторить (как только вошел) твое имя вслух, уточнить инициалы и запротоколировать. Тебя еще нет, хотя ты вошел. Ты идешь к середине стола, и они, может быть, смотрят, приострив взгляд, от ску-

ки на твою обувь и на твои шаги, если на шаги можно смотреть. (Можно с интересом смотреть на движение ног — движение всегда что-то подскажет.) «Проходите. Садитесь...» И когда ты совсем приблизился, он повторяет вторую часть сказанного уже отдельно: «Садитесь». И графин от него неподалеку. (Два первых предметных образа: лицо *Секретарствующего* и графин, оба в середине стола. Графин с водой. Лицо с приятностью.) *Секретарствующий* никогда не лохмат, не массивен. Он художав. Всегда причесан, аккуратен, говорит не басом, но и не пищит — средняя, понятная всем речь.

Его претензии невелики: вставить свое слово, когда обсуждение перевалило пик. Но его желание превосходит желания других своей честной устремленностью, и по этой причине он никогда не зол по отношению к тебе. Вставить свое словцо, чтобы оно прозвучало, — вот и все. Чтобы было ясно, что он не только очиняет карандаши и доликает в графин свежей воды. В руках авторучка. Он делает беглые записи, пометки. И белая бумага лежит перед ним. И всегда белая сорочка в вырезе пиджака. (Белый — его цвет.)

«Проходите. Садитесь...»

Однажды он услышал во сне этот четкий (красивый и строгий) голос и — как знак свыше — записал его на пластинку памяти. Записал навсегда. Он не копировал, он его создал. Лет пять-шесть назад товарищ по работе сказал ему, что его шутки отдадут самогоном и свежими коровьими лепешками. С тех пор он не шутит. (Душе тесно.) В компании

родичей, нагрывавших из-под Тюмени, он напивается, шумит, хохочет, но вместе с отбившими родичами кончаются три дня праздников, начинаются будни.

Выясняли вину нашего сослуживца Н. (почти притча), который все ссорился, придираясь к людям, работавшим с ним вместе. Вина Н. была ясна. Но заодно всплыло другое: оправдываясь, Н. рассказал о гибели жены, погибла два года назад, — рассказал об одиночестве, которое и толкает его к ссорам (возможно, он ждал сочувствия). Однако выяснилось, что жену он тиранил, и кое-кто из сидевших за столом знал о неладах в их семье.

Следом выяснилось, что с женой он не ладил, так как частенько позволял себе командировки и во время этих поездок жил со случайными женщинами. И ведь не отвертеться. Одну из них, совсем молоденькую, он, как говаривали в старину, совратил (растерявшийся Н. даже имя ее сам им назвал, вспомнил!). Он бросил ее, уехал, и молодую женщину это так потрясло, что она заболела (нетяжелой, но долгой душевной болезнью). И тут же, в параллельном и пристрастном расспрашивании, выяснилось, что и частые эти командировки он устраивал себе не всегда по необходимости и, конечно, за счет предприятия. И так далее и так далее. И все продолжала выплескиваться его несомненная и как бы единая вина (правда, рассредоточенная по всей долгой жизни, как это и бывает у человека).

Судьи (то бишь сослуживцы) уже понимали, что влезли не в свое и что им надо было остановиться

еще там, где Н. придирался к товарищам по работе — им надо было остановиться на своем деле. Но, перекопав, как канаву, почти всю его жизнь, они не могли теперь эту канаву просто так зарыть: впади в положение Бога, который увидел грехи наши... Они продолжали расспрашивать — вина продолжала разрастаться, и Н. сам ужаснулся всему тому, что он натворил (но ведь это за всю жизнь, так и бывает!) — на покрытый сукном старый дубовый стол огромным комом выволочлась наконец *вина*. (Последний суд состоялся.) Потрясенный Н. попал в больницу, вскоре же умер; он как-то вдруг угас. Злые языки, правда, говорили, что он умер, *опившись валерьянкой* — отравился какими-то успокоительными препаратами.

Работавшие с Н. (почти все мы) как-то разом в те дни почувствовали, что Н. был честный, порядочный человек, добрый и даже верный (хотя это и не отменяет всего того, что мы так пристрастно насобирали в долгой канаве вдоль его жизни) — во всяком случае, мы чувствовали, что мы не лучше.

Тот, кто с вопросами, интеллигент, он как бы главный. На ровной ноте вежливости, которая многого стоит, он вытягивает из тебя личное (не обязательно большое).

— Что? что? что? — вдруг вскрикнули настороженно двое из них или даже трое — голоса их слились. Почуяли неосторожное мое слово, тут же взяв новый четкий след на снегу.

Я еще не понял, что такое сорвалось с языка, некий выхлоп, случайный выброс слов, протуберанцы недовольства, — зато они уловили чутко.

— Что? что? что?.. Да, да! не прячьтесь! — вот они ваши слова, мы уловили *протуберанцы* *вашего* *недовольства*.

Они и дальше будут копать канаву, рыть яму за ямой на месте каждой неровности твоей души, ямы и малые ямки, каверны, пещеры, заглядывать туда и вскрикивать — как темно!.. Сами копают пещеры и сами удивляются, что там нет света.

Ты отвечаешь им, запинаясь, однако еще не путаясь, но в одну из обыкновенных минут вдруг смолкаешь, как в ступоре, словно бы тебе крикнули: «Вста-ааать!» — и хотя этого не крикнули, ты встаешь, ты медленно встаешь со стула, а затем (осознав, что минута как минута и никто ведь вставать не велел) медленно же садишься в полнейшей тишине. Но стул подламывается. И проваливается пол. И ты уже в том самом подвале, где громадный мужик идет к тебе навстречу. Висящие кнуты, ремни. Всякие там ножи и щипцы, что так ужасают, — но прежде мелких предметов ты видишь этого здоровяка, крупного и с неотталкивающим лицом, идущего навстречу. Идет принимать. На руке, на внешней половине бицепса, выколота та роза, с вьющимся стеблем, а на плече могильный крест. Здоровенный, полуголый, с хамским блеском серых глаз. Огромный мужик, животное, любящее, как он сам говорит, потешиться, — из тех, кому все равно, что перед ним в эту минуту: овечий зад, женский зад, мужской зад, лишь бы жертва взвизгивала, вскрикивала от боли (нет, не от униженности — такого чувства он не понимает, не знает его; именно от боли, чтоб криком кричал — это ему понятно).

Ты можешь и не знать о времени *подвалов* или о времени *белых халатов*, но в том-то и дело, что и не зная — ты знаешь. (Метафизическое давление коллективного ума как раз и питается обязательностью нашего раскрытия.) И удивительно, что мы не раскрываемся до конца.

То есть мы раскрываемся, мы искренни в своем раскрытии, но *что-то*, как правило, маленькое, укороченное, неважное, мы все же оставляем себе. Какие-то травинки уцелевают, в то время как выдираются с корнями дубы, заросли кустов и толщ травы. Какие-то две-три травинки... И в смуте души человек почему-то их утаивает.

Быть может, они вызывают меня, чтобы помаленечку начать увольнять с работы. (Идет сокращение.) Ведь они никогда прямо не скажут: так, мол, и так, хотим сократить. Они будут вызывать, обсуждать, копать в твоих делах нынешних и прошлых. Им необходимо нравственно тебя осудить, прежде чем дать ногой под зад. (Момент истины.) И когда сейчас, среди ночи, я подготовился к сотне вопросов, главный их вопрос я забыл: *по какому поводу они меня вызывают?* — но этот-то вопрос и неважен. В нем нет содержания. В любом случае будет один и тот же стол с сидящими вокруг людьми. И копать эти люди будут в одной и той же жизни. В моей.

Неспособные сказать прямо, лукавые, они станут меня расспрашивать, и тень парткома былых времен, ничуть их не пугая, будет висеть над старым столом, покрытым сукном. Есть тени, которые не пугают. Старый стол различает знакомые инто-

нации спроса. (Потому и вызывают не сообщить, а поговорить.) Я, разумеется, совок. Но ведь и они совки. Они не способны выгнать просто так — они должны будут убедить меня, что я никуда не годен, что я говно, что плохо жил жизнь и что обществу я с некоторых пор и отвратителен, и не нужен. Сколько бы я ни готовился вот так среди ночи, они все равно застанут меня чем-то врасплох. Но и я вдруг вспыхну. Как только в середине разговора определится, к чему они клонят (а это не раньше, чем середина спроса, они ведь должны захотеть вытянуть мне жилы), я начну дергаться, сопротивляться, огрызаться, а они, удесятерив усилия, будут еще более давить, гнать, травить бегущего. (И виноватого.)

Ночь. Кухня. Я варю (по необходимости) старинный дедовский сбор из того, что накопал и насобирал летом. Валерьяновый корень. Мяту перечную. Речной трилистник. Что делать, если в аптеках нет, а мое сердце, если его не осаживать ближе к ночи, имеет слабость, как пугливая бабочка, вдруг затрепыхаться, забив крыльями. (Вижу человеческое сердце как красную бабочку. Сидит со сложенными крыльями. Крылья дышат в неполный такт: подымаются и опадают.) Я отсыпаю две ложки сбора. Ставлю эмалированную кастрюльку в большую миску с кипящей водой (делаю «водяную баню»). Захочешь жить — всему научишься. Ночь долгая.

Свалявшиеся волосы, больной вид. Медленной ночной поступью прохожу мимо зеркала. Хотел бы подмигнуть своему отра-

жению, но не вижу собственных глаз — запали под брови и веки; усталость...

Запах с кухни. Пора. По часам вижу: убавить под миской газ, иначе вода со сбором выпарится до дна.

Возможно, я уже знаю их, сидящих там за столом, до такой черты, до какой они сами себя не знают, но знание это не дает мне, увы, силы от них отодвинуться. Они слишком близко. (И, конечно, запоздалое недоумение, как так случилось в жизни, что, спеленутый с ними, я уже не живу без них, не мыслю себя без них.) Они — это и есть я.

Хожу по коридору. Если жена вдруг проснется от шарканья моих шагов, скажу, что я только-только встал. Мол, в туалет. Могу даже решиться и сказать, что бессонница. Но тогда на меня навалится ее сочувствие, которое я бы охотно принял, если бы мог, к тому же решиться рассказать, какие жалкие страхи меня одолевают. Возможно, жена знает. Возможно, понимает, что *без сочувствия мне легче*. (В каждой семье есть свое. В нашей — мои скрываемые ночные страхи.)

Я бывал спрашиваем ими уже десятки раз и даже, пожалуй, сотни раз, и ведь выжил — ну так одним разом больше! Но в том и суть, что человек придавлен не ожиданием предстоящего ему 148-го раза, а остаточностью давящего пресса 147 предыдущих, — это ясно. Сколько раз за таким же точно столом я их перехитривал,

уходил от них, сбивал со следа, дурил, обманывал, да и просто оказывался умнее их и многожды проницательнее. Иногда я таился, иногда вел себя вызывающе, иногда компромиссничал, иногда, решившись, давал малый или большой бой, а они ничего такого особенного не делали: они только и делали, что оставались самими собой. Они не меняли лица и не хитрили и потому победили меня. (Оказалось, они — часть моего сознания, что и стало их победой.) Однажды оказалось, что они со мной, они во мне, и уже не отодвинуть их типовые лица, их вопросы. (Я так долго старался их понять. Ночью, такой же вот ночью готовя себя к спросу, я огромным душевным напряжением все же проник в их суть, понял их, и в ту же самую секунду они угадали меня — вошли в меня. Взаимность.) Конечно, уже не отодвинуться. Времени нет. (Жизнь прожил.) Мне, в общем, жаль, что я думаю о них и только о них. Жаль, что в напряжении бессонной ночи я варю темно-фиолетовый валерьяновый корень и хожу взад-вперед по ночной квартире, вместо того чтобы спать. (Мне жаль мое «я», которое от застольного общения с ними стало словно бы пластмассовым, и, если его хоть чуть подержать у их огня, оно тут же смягчает и скукоживается, покрываясь с теплого бока кривизной морщин.)

Человеку, впрочем, так или иначе суждено пережить Суд. И каждому дается либо грандиозный микеланджеловский Суд и спрос за грехи в конце жизни, либо — сотня-две маленьких судилищ в течение жизни, за столом,

покрытым сукном, возле графина с водой. Так что, может быть, это наш вариант?

И тогда я думаю: может быть, за свои 147 или 148 раз я уже очистился?.. может быть, тому, кого уже со школьной скамьи спрашивали с пристрастием, как и зачем живет он сам и как народ (он — вечно виноватый перед народом), — может быть, ему, бедняге, в конце жизни будет за это грандиозная скидка, и ему скажут: никакого Страшного Суда, проходите, проходите!.. Нет, нет, оправдывать вам ничего не надо. Вы уже все рассказали и на все вопросы ответили — проходите. Вперед, совок, тебе уже ничего не предстоит. Вперед, милый. И не страшно, что впереди такая темень и мрак, — это всего лишь ночь.

(В своем экзистенциальном выборе мое «я» хотело бы прожить жизнь размашисто, дерзко и, пожалуй, нечестно с точки зрения общей морали: заниматься, к примеру, кражами и быть талантливым ночным вором, влюбленным в погасшие на время ночи городские квартиры первого и второго этажей, — возможно, я выбрал бы такую (хотя бы такую!) жизнь взамен нынешней. Нет. Не сумел и не дали. Даже этого не позволили, обрушив на меня еще с детства чувство вины.)

И странная вдруг картинка (это ж надо такое представить!) — драка у них за столом. Да, да, меж собой у НИХ потасовка. Трое дерутся против четверых, а еще двое выясняют who is who сами по себе — брань, крик, зуботычины, и даже стул, брошенный в кого-то, полетел через дубовый стол, не задев, впрочем, графина и бутылок с нарзаном.

Такая вот нафантазированная картинка. А я как

раз к ним пришел. Мне бы обрадоваться и уйти, а я стою, как потерявшись. Я ведь пришел открыться, готов к вопросам, готов оправдываться. С собранным комом жизни внутри себя. Стою. А им не надо.

И не знаю, как быть и куда мне деться, когда у них драка. Я стою в ожидании. Топчусь, топчусь. Я ведь не могу уже без суда. Я уже не могу быть один на один со своей душой. Она уже не моя. Возьмите ее. Пожалуйста, возьмите.

4

Если ты их упорядочиваешь, сидящие там за столом (в твоём воображении) ведут неприятный ночной спрос. Но если ты их не упорядочиваешь, хаос страха хватает тебя напрямиком за сердце. Ночь есть ночь. (Ночные мысли нехороши, но, если их не упорядочивать, они совсем плохи.) И порядок в мыслях — это отчасти порядок в том, как эти люди будут завтра сидеть за столом. Завтра обойдется. А послезавтра не обойдется. (Однажды твоя бабочка вдруг забьет крыльями — и взлетит.) Но ведь что-то меня мучит конкретное — что?

Припоминаю. Вот оно что: та, *Седая в очках*, сердобольная, что в правом углу стола, похожая на полурусскую, вполонину с армянской либо еврейской *далей*, завтра, кажется, не придет. Вслух сказали. (По телефону. Кто-то сказал кому-то, а я слышал, проходя мимо.) Стало быть, для меня один голос потерян. Хотя и она может выступить против. (Бывает.) А все же знать, что она, с печальными глазами за стеклами очков, сидит там, на правой половине стола, — знать неплохо. Сидит вся седая, прокуренная. В сильных очках. (Жаль!)

Для врачей-психиатров времен белых халатов было ясно, что сидящий перед ними человек не диверсант и не враг, а также не убийца партийных лидеров (взрывы, выстрелы и вообще «враги» остались в прошлом — в 37-м). Так что вопрос упирался всего лишь в нежелание «быть с народом вместе», а не желать этого (за отсутствием врагов) мог только человек больной. Что им и предстояло определить. И квалифицировать: *больной человек*. Они искренне в это верили.

Такой человек мог быть поправимо больным; ему назначалось лечение в психиатрической клинике. (Надо было помочь не некоему Иванову А. В., а надо было помочь человеку, как бы потенциальному и как бы содержащемуся сейчас внутри Иванова А.В.) Профессионально-медицинский спрос вели разные люди. У них были разные судьбы, и их разное пригласили за этот стол. Но, как и всегда, рядом с *Секретарствующим* сидел интеллигент, с высоким, красивым лбом, то есть тот врач, *Кто с вопросами*. Был *Старик* (старичок от общественности), был *Социально яростный* (врач из низов, никак не могущий сделать карьеру), была врач, *Красивая* женщина, — словом, все они были люди как люди, только в белых халатах. (В известном смысле они были народ, и у сидящего перед ними человека была возможность почувствовать вину и раскрыть свое «я».)

Авторучка *Секретарствующего* работала как никогда. Время белых халатов — его время; единственное время, когда записи значащи и когда слова тех, что ведут спрос, он записывал аккуратно и со строгой точностью. Иногда (сквозняк, весна) *Секретар-*

ствующий прикноплявал на столе свои белые листы (кнопок в продаже не было) вышедшими из употребления иглами от шприцов, и старый стол (под скатертью) сохранил болевые точки, каждый раз по четыре. Они уж давно не болели, разумеется, но все-таки чернели на поверхности, хотя и затянутые пылью времен. Старый стол также сохранил (под скатертью) небольшие черные прожиги — следы выкуренных папирос. Скатерку, конечно, сменили (сукно сменили уже много раз), но прожженности стол помнил старым своим телом. Через дрему десятилетий он помнил и голоса.

Голоса «обыкновенных» были негромки. Хотя это были не единицы, а тысячи, а то и десятки тысяч из разных городов — в основном юнцы. Время попросту выбросило в жизнь целую генерацию, которая «хотя бы на волос», а все же отличалась от предшествующих. (Предусмотрено биологией.) Возможно, они и на волос не отличались, но всего лишь вступили в период возрастных сомнений и смущения духа, какой в юности бывает у всякого, и, пройди они, проскочи этот период, через год-полтора из каждого из них получился бы самый обычный совок, честный и по-своему верящий в известные идеалы, но... но год-полтора им не дали. Юнец высунулся — его успели заметить, поймать на слове и, упирающегося, привести за стол, покрытый сукном.

Строго говоря, *белые халаты* приглашались судить юнцов не сразу: сначала решал трудовой или же студенческий коллектив (стол, с сидящими вокруг людьми), затем общественный суд (еще один стол с сукном и графином посередине) и, наконец,

круг врачей и психиатров вместе с представителем общественности (третий и уже последний стол) — впрочем, можно было считать, что это один и тот же стол, но только удлинённый в три раза по случаю.

И вот что юнцов ждало: разрушенная после лечения психика; затем «тихость»; затем, как правило, быстрая, ничем не приметная смерть.

С той же стороны, где сидела *Красивая женщина-врач*, сидела и *Женщина с обыкновенной внешностью*, похожая лицом на школьную учительницу, так что, если потрогать старый стол, отнятая на этом месте от стола ладонь все еще передаст (через новое сукно) сохраненный запах школьных парт и тонких ученических тетрадей. В школах тогда уже обходились без чернильниц (вовсю пользовались авторучками). А в клиниках все еще применялся для лечения препарат, в простоте называемый почему-то «Аленкой» (иногда «Ежевикой», за густой, темно-красный цвет). Патентованное соединение инсулина и старинных препаратов (веронал плюс уретан), «Аленка» была популярна в психиатрических больницах. Препарат сразу же усваивался и — главное — столь же быстро вызывал у больного непроходящую сонливость, подавленность, правда, подчас и исчезновение интеллекта. (А заодно и — необъяснимую ненависть к птицам. Все больные рассказывали про птиц.)

Вызываемые по очереди молодые мужчины и женщины (студенты или сотрудники университета) парировали реплики собравшихся на консилиум врачей; дерзили. Острые на язык, они посмеивались. Они даже в меру изде-

вались над своими медицинскими судьями, мол, разве мы похожи на психов, и, мол, если мы — психи, то кто тогда не псих?.. ОН был приметен копной светлых волос. ОНА, вызванная следом (они вплоть до лечения держались вместе), отличалась правильными чертами лица, небольшой темной родинкой на щеке. Оба прожили недолго.

ОНА была тоненькая. Смесь подкорковых ядов в процессе лечения очень скоро привела ее к тихости: исчез смех, лицо стало задумчивым. Тишина обступила. Ей, правда, слышалось падение дождевых капель на крышу, тиканье маятника. А затем — как и у всех — накатывали вспышки гнева при виде голубей, бросающихся на хлебные крошки. Непереносимое отвращение ко всяким птицам, но особенная ненависть к крупным — к воронам, голубям — ОНА топала на них ногами, кричала: «Кышш! Кышшш!..» — и, как только спугнутая птица взлетала, возникала девичья слабость, дурнота, обильные капли пота на лбу. ОНА скоро умерла. Обычная в таких случаях серия припадков обошла ее стороной, наступило истощение и — не приметная смерть. ОН умирал дольше. Мощный интеллект сопротивлялся и месяц, и два: он даже продолжал решать какие-то задачи, доказывать теоремы; он спал, ел, он даже шутил, — да, да, как и впервые представ перед судным столом, он довольно долго острил, уже и психика «потекла», уже и ум его «сел», как садится аккумулятор, а шутки выскакивали, выпрыгивали изо рта — и до самой смерти не возникло в нем желания молчать. (Из известных признаков — только ненависть к пернатым.)

Судьи-врачи, судьи-психиатры сами подвержены обратному действию судилища. Открываемое ими, оголяемое чужое «я» укрыто природой-охранительницей (по отношению к ним) очень токсичным психологическим полем. Врачи признавались, что сам спрос человека, попавшего им в руки «полностью и до конца» (их судный стол), оказывал воздействие на их собственную психику. Иногда это их подавляло. Иногда приводило в неосознанное игривое возбуждение. И если врач не стопроцентно устойчив, процесс расспросов провоцирует его психику и подталкивает его самого к едва намеченным границам патологии. Обладание не хочет знать ограничений. Спрос — это *потребление* человека человеком. А возможность проникнуть в душу и там выискивать — сродни обладанию.

Один из врачей, а именно *Тот, кто задавал вопросы*, был настоящим ученый, всю свою жизнь размышлявший о сухой плазме, об инсулине, о препарате ДтДн в ампулах. И конечно же, по-человечески сочувствуя ЕЙ, он сожалел о наступившем вдруг сумеречном состоянии ее души. ОНА была ему симпатична. Когда после долгого отпирательства и нежелания объяснить свои студенческие выходы она наконец потеплела сердцем и сказала: «Я расскажу. Я все расскажу...» — и лишь запнулась на миг на пороге откровенности, врач облегченно вздохнул. (И неожиданно, как он после признался, испытал к ней чувственное желание.)

Молодое красивое тело находилось в подсобной, «холодной» комнате накануне перевоза в морг, а он, как записано в последующем протоколе, «ос-

тался наедине и не мог оторваться от ее лица, родинки на щеке». (После тоски, после сумерек в психике и приступов ненависти к голубям, к воробьям, к их гнусному чириканью больная умерла. Умерла и лежала — вот она. Она лежала в холодной, подмораживаемой комнате, одна. А врач?..) А врач только-только вошел туда и с грустью смотрел. Он (тут следует отметить точно) и сам еще не знал, что это доставляет ему удовольствие, «...пока этой же ночью он не оказался один на один с трупом молодой девушки. Желание его оказалось настолько велико, а обстоятельства настолько благоприятны, что он не устоял. Обнажив член, он прикоснулся им к бедру мертвого тела, испытав при этом огромное возбуждение. Окончательно потеряв над собой контроль, он обхватил тело и приник губами к ее интимным местам. Как утверждает подследственный (теперь спрос был с него), возбуждение достигло в этот момент такой силы, что у него произошло извержение семени. Затем пришли угрызения совести и страх, что его могут застать ночные медсестры или уборщицы... Под утро он опять вернулся. Первым делом он сосал у нее груди, затем погружал губы в интимные места». Вероятно, окоченелость ее тела, подмороженность трупа не дали ему возможности полного обладания (заодно же не дали впоследствии применить к нему статью кодекса в куда более суровой полноте). Разбросанные там и здесь в протоколе его признания однозначно говорили о том, что именно процесс судебного спроса его возбудил. Врач-психиатр, он и раньше испытывал по отношению к опрашиваемым женщинам известное возбуждение (томил-

ся, мучился, но природу мук, как он уверяет, не понимал). Выяснения и тщательная проверка его ночных дежурств подтвердили все такие случаи, а также постепенность нарастания его чувств. Возбуждали его мужчины, когда он вел пристрастный разбор их дел?.. Нет. Его мучило нечто во время расспроса женщин, но он не мог это нечто понять, пока не осудил однажды на лечение молодую женщину и она не умерла вскоре от препарата «Аленка».

Секс, я думаю, не раз и не пять был связан с судилищем ритуально — связь уходит в глубину веков, в нравы племен. (Меня колотит, когда думаю об этом; в двух шагах от спросного стола — бездна.)

5

Расспрашивая, человека уже и раздевают, вплоть до самой наготы, и это уже есть секс, уже постель, и каждая следующая сброшенная тряпка злит и распалает как их, сидящих за столом, так и нас, спрашиваемых (мы — в женской роли). Но ведь удовлетворения нет. Они разложили, раздели тебя своими вопросами и, передавая от одного к другому, коллективно поимели твою душу, но все как бы впустую, без выброса семени. Неполнота обладания очевидна, и графин в середине стола играет лишь роль торчащего камня, ритуального фаллоса (бессмысленно стоящий графин, из которого никто и никогда не пьет). И как только жертва уходит от их спроса за дверь, ощущение этой неполноты наваливается на судей. Он ушел. Ушел, и судилище тотчас стало безвкусным — они даже оглядываются друг на друга: чего мы тут сидим? зачем? что за насмешка?!

Геосексология — пора бы ввести такое слово. Грубая географическая схема такова. В Латинской Америке — секс и кровь. В Америке — секс и доллары. В России — секс и спрос.

В Европе — секс и?.. ну?.. — ну, конечно же! Ну разумеется, в Европе *секс и семья*, как я мог это забыть? (Ночь. Ирония слабеет. Иронии бы тоже надо спать.)

Так что осознанно или неосознанно, но после коллективного тотального досмотра твоей души их неостановимо тянет теперь к самому что ни на есть бытовому сексу. Что бы и как бы они там ни объясняли, их тянет, влечет, они должны торопиться к соитию, и самый серенький грех в эти последующие часы их устроит. (А заодно и лазейка, так как все еще длится возможность несколько часов отсутствовать, не объясняя своей жене или своему мужу.)

Но есть и высокое оправдание. Зачать новую душу, оплодотворить хаос (у них претензии Бога). Примерив на себя роль Бога, они ведь тем самым взяли на себя и непрерывность всей проблематики Творца. Именно так: завершая Судом чью-то жизнь, они бы должны начать, точнее сказать, зачать жизнь следующую. Начинать же и зачинать они умеют отнюдь не из хаоса и не из глины. И потому сразу после всякого судилища каждый из них бегом бежит к постели, к совокуплению — как мужчина, так и женщина, — в них срабатывает крохотный ген взаимосвязи смерти и жизни. (Они обязаны. Они должны выполнить заложенную онтологическую программу: зачать чью-то новую жизнь после того, как чью-то прежнюю жизнь закончил.)

Сразу за *Секретарствующим*, за гладеньким и чистеньким секретарем-протоколистом, сидят с правой стороны два *Молодых волка*. Один из них волк *Не опасный*. (То есть он здесь неопасный. Вообще-то он рвет зубами все, что придется: место по службе, женщину, девицу, скорые деньги, выпивку, — торопящийся и всегда алчный.) Но здесь он скучает. Плевать ему на них. Он, конечно, поддерживает спрос, но иногда, именно из наплевательства и из известного бесстрашия, он способен тебя (жертву, сидящую за столом посередине) вдруг поддержать, оправдать, а то и клацнуть зубами, огрызнувшись в сторону *Того, кто с вопросами* или в сторону *Партийца* — мол, нечего меня учить и одергивать, сам знаю.

Опыт, впрочем, для него интересен: ему не хочется упустить, как именно затравили тебя. В такую минуту (а прежде он скучал) его глазки с сонной лентой открываются: мол, нет, не проспали глазки тот волнующий предмомент, когда доламывали и когда человек наконец сломался. (Косвенно полученная радость хищника. Вот она. Мысленно он прикидывает, как у него на работе вот так же завалят в свой час и пригрызут непосредственного начальника, если тот зазевается, старый барбос! еще увидим его жалким!..)

— Что виляешь, что ползаешь, — вдруг возмущается он, если жертва (если ты, задерганный вопросами), уже *готовая*, уже с переломанным позвоночником, все-таки находит в себе силы тянуть время: оправдывается и уползает куда-то в сторону от расправы. (И главных слез, тех, что искренние, с сукровичной водой, — этих слез все никак нет.)

Он — из *растущих*. (Из набирающих у себя на работе очки.) Из тех, кто хотя бы немного в славе: он движется по некоей лестнице, растет и (наедине с собой) уже пестует свое тщеславие. Он остается, по сути, тем же молодым волком, но уже не хватает, загрызая, все подряд.

Ему мила сцена, когда его упрашивают: стоят возле него и говорят, заглядывая в глаза. И когда войдет, он сядет за судилищным столом близко к графину с водой, но не потому, конечно, что жажда, а потому, что уже есть подсказанная и привычная близость к центру. Но он еще туда не вошел. Он идет, и с ним рядом пытается идти некий жалкий тип, вероятно, приятель того, кого сейчас будут сурово за столом спрашивать (дружок сегодняшней жертвы), — идет бок о бок, ища возможность замолвить словечко. И тут, разумеется, следует быть решительным:

— Нет, нет. Ничего вам не обещаю...

Но тот продолжает, лепечет свое:

— Избави бог, я и не прошу, чтобы обещали — я знаю, вы человек беспристрастный. Я только хочу сказать... Я всего лишь... я думаю, что возможно...

— Нет. Не обещаю.

При этом, однако, молодой, растущий *Волк из опасных* не уходит от просителя резко в сторону и даже не отворачивает головы. Он дает этому просителю — пусть полупросителю — идти рядом. И еще одному полупросителю, который уже справа пристраивается на ходу, тоже дает сказать и идти рядом. (Хотя и ему не обещает.) Он не против, чтобы тот, что слева, да и другой, что забегает сейчас справа, шли и шли вот так рядом, и заглядыва-

ли в глаза, и что-то говорили, просили всю его долгую (он так надеется) жизнь.

— Нет. Не обещаю.

Глазами других людей (отраженно) он отлично видит и себя, и эту нашу с вами припляску на ходу вокруг него. Он уже повернул от лифтов по коридору, он идет ровно, а мы все спешим, принаравливаясь к его шагу, — спешим и говорим, как нам кажется, важное.

Другой *Молодой волк* более весел, из него прет энергия, он остроумен. (Витальные ключи, бьющие из самой глубины натуры, выносят на его лицо замечательную яркую улыбку. Так и чувствуешь токи жизни.) Таких любят, точнее сказать, такие всем нравятся. И особенно улыбка. Приятно смотреть. Хотя, разумеется, именно он на судилище тебе хамит, тычет тебе с первых же слов или вдруг кричит: «Как сидишь? Что это ты развалился?!» Он одергивает, не вникая в тонкости. И он же загоняет в угол прямыми и, если ты это допустишь, унижающими тебя вопросами.

Молодой волк из опасных тем и опасен, что хочет прихватить во всяком месте (в частности, здесь, за столом судилища). Использование ситуации в своих целях, то есть свой навар, он не обдумывает и секунды, потому что хватательный навык укоренился и, как инстинкт, лежит уже в самой его сути. (Добыча. То есть ты — добыча, все твое — добыча, и вся твоя жизнь — его добыча.) Если ты загнан и падаешь, что-нибудь твое следует пригрызть. Неплохо бы женушку, если не так стара, если толста и добродушна (самый лучший тип!). Можно и доч-

ку твою, лет восемнадцать, совсем неплохо. Но с этими восемнадцатилетними обычно вяпываешься, бросаешь, потом их жалеешь — нет уж, к чертям, проще и лучше жену!..

И когда за день-два до судилища твоя жена появляется и хочет с кем-то из влиятельных поговорить (в волнении она расспрашивает, как и что, ее помаленьку пробивает дрожь), молодой *Волк* тут как тут: он даже не почувствует подделанность своей лжи, потому что как раз сейчас проступает его суть: его естество. Да, мадам, могу помочь, да, это в наших силах, постараемся разобраться. Когда люди ко мне с душой — я тоже с душой. И... глаза свои быстрые вперед. Глаза — в глаза. Нет, нет, деньги его не интересуют. (Интересуют, но сейчас можно начать с другого: с более волнующего.) Нет, нет, какие там деньги! Вы — женщина, вот вы сами и догадайтесь... и после запинки сразу, уже без пауз, по-волчьи:

— Хотите, приду к вам на чай?.. Я думаю, лучше днем, когда тихо и спокойно?

И с улыбкой:

— Если выпивка тоже будет, она *нам с вами* не помешает, верно?

Конечно, в свою пору ты тоже поучаствовал и побывал в числе тех, кто судит. (Каждый побывал, каждый сидел рядом.) Наше сознание полууправляемо; и, если за судным столом тебе пришел черед сказать слово и возник некий психологический сбой, ты запинаешься лишь на миг. А потом просто и охотно говоришь, попа-

дая в пришедшую тебе на помощь ауру спросных слов (хотя бы тебе и чуждых).

Двигаясь из юности в зрелые года, ты не мог миновать и не быть в этой паре молодых волков. Было скучновато, но зато было расположение к тебе женщины, сидящей рядом (сначала она сидела поодаль, но ты к ней пересел через одно-два судилища); ее вполне можно было счесть *Красивой*. Твои молодые волчьи повадки подогревались к тому же ее более старшим возрастом, и соответственно ее чувственным опытом, и плюс ее мужем. (Верно: ты отошел вскоре от судебного застолья. Но ведь отошел случайно. И это уже после, перетряхивая всю коробку, жизнь сделала тебя более ранимым. И все более сочувствующим тем, кто подсуден.)

Лысый многоженец... ах, как умно он извивался, оправдывался, как издалека стал вдруг нацеливать теплый голос на ответное человеческое сочувствие, на сострадание (которого он хотел от нас), а я спросил: «Вы собираетесь нам рассказывать *о всех своих женщинах?*» — он улыбнулся, ответив: «Мне придется», — однако я продолжил: «Не о всех. Пожалуйста», — и после этого скромного ненажимного попадания весь боевой воздух из него вдруг вышел. Он обмяк. (Он сразу на наших глазах обмяк, а ведь как держался!) Попав в человека раз, я тотчас почувствовал гон, привкус погони. В его оправданиях открылся пробел (и незащищенность) с другого фланга — и я ткнул туда: «Правда ли, что вы много говорите про Андрея Ивановича и его жену?.. с чего? был ли повод?..» И тут он совсем пал духом, голос его скрипнул, и селезенка жалобно екнула (звук екающей селезенки был мне тогда

незнаком). Андрей Иванович — шеф, большой начальник, и постыдно, что я этим ударил. Но ведь я не собирался так очевидно засвечивать, нет, нет, я просто шел по следу, ломил, гнал, а шеф, толстяк-начальник, был козырем, и в азарте я козырнул, как в игре.

Проверять и исправлять чужую жизнь, лепить ее, созидать — да, да, созидать всякую чужую жизнь, корректируя ее!.. Честный дядя хотел, чтобы все вокруг были честными. Ведь если ты видишь возможность исправить чью-то жизнь, кажется вполне естественным, если ты вмешаешься. Люди обязаны вмешиваться. (Но, если вмешиваются в твою жизнь — это ужасно. Вот и мудрость. И уже с демократической одержимостью.)

В тот же день попался сибиряк-хитрован, окал, акал, никак не могли за столом к нему подступить. Я был, видно, в тот день в ударе: заметил его уязвимое место, но пока молчал. (В гоне я не был *Волком* в охотку, страсти не было. Но я тоже входил в раж.) Ну никак не могли судившие сделать его виноватым (главное во всяком спросе) — время тянулось мучительно, спрашивали без толку, хотелось курить. В желудке уже подсасывало, и исключительно от томительности минут я вдруг его сомнительную слабину приоткрыл — ткнул, и он прокололся. Солгать сразу он не сумел. «Погодите, погодите!..» — он хотел выкрутиться, солгать отступая, но ему уже не дали. В отысканную брешь ринулся злобный *Соц-яр*, а за ним все сразу, и снова, и уже вдохновенно задавали ему вопрос за вопросом, — уже терзали. Хитрован шмыгал носом, он не окал, не акал, говорил обычным растерян-

ным московским говорком. (Вся алчность гона только тут и пришла. Отчетливо помню: я подумал, что проступок его — в общем пустяковина, житейский сор, муть: и что же его наказывать за сор и муть, когда хочется наказать за жизнь как таковую.)

И был еще в тот день — следом — один человек, женщина; исходно жалкая, жалковатая, она плакала. Впрочем, почти каждая женщина плакала (и в этом крылась хитрость, которую мы все, конечно, знали). Давали воды. Приводили в чувство. В графине вода какое-то время чуть колыхалась, приковывая взгляд. Когда слезы просыхали и женщина могла отвечать, ее спрашивали — и только теперь спрос делал ее виновной, слезы становились неподдельными и истерика настоящей.

И в тот же самый вечер (не отдавая, конечно, себе отчета в неосознанной потребности зачинать новую жизнь) ты шел с судилища с *Почти красивой* женщиной, провожал ее, и, пьяные общением, вы оба шумно обговаривали, кто из вас как сегодня выступил и кого как затравили — да, да, это, конечно, называлось «обсудили» и «разобрали». Вы шли к метро, ты держал ее под руку, уже зная (помня) сказанное ею про уехавшего куда-то мужа, — ты даже не спрашивал, можно ли проводить, ты просто шел с ней (и за нею), ты уже давил, уже нависал всей молодостью и крепостью волка. И через полчаса, где-то там, в престижном и красивом доме, на восьмом этаже, где-то там, в дальней (на всякий случай) комнате, на тахте у свисающего со стены бухарского ковра она слабо попискивала в твоих руках: стонать, вскрикивать еще не вошло в те годы в моду, только мягкое попискиванье: мол, чувствую, мол, сопереживаю, вся с тобой и твоя.

Не подверженных судилищному сексу среди них, я думаю, трое. Во-первых, *Старик*.

Во-вторых, та грубая баба, что всегда молчком сидит в самом левом углу стола (но не в торце, там *Партиец*). Грубоголосоую эту женщину я называю (для памяти) *Продавицей из уголовного гастронома*, хотя, может быть, она из торгога, или с овощной базы, или из сети ларьков. Крепкая здоровьем, сверх крепости еще и подзаросшая жирком, она час за часом сидит, за столом судилища с непроницаемым лицом: сидит лишь бы числиться, что работала в общественной комиссии. Когда в гастрономе или на базе она проворуется, сидение здесь ей зачтется. (Общественный человек, не надо ее трогать. Тень на сидящих с ней рядом, на красное сукно меж ними и на графин.) Только для этого она и сидит. Почти не говорит. Не улыбается. Не сердится. Иногда скажет: «Ага», — и как только предлагается осуждение или наказание, не спеша, но твердо подымает руку: она «за».

Также вне секса *Седая в очках*. Уже с первых минут она мне (как и всякому, с кого спрос) сочувствует: ощущения жертвы ей слишком хорошо знакомы по ее собственной жизни, возможно, по жизни ее сына или дочери. Она не может не понимать сути судилища и знает, что это такое, когда все — «за». Но в параллель она знает, что *все знают* за ней априорную жалостность и эту заранее возникающую в ней готовность прощать: склонность снисходительствовать, попускать, не примечать и тем самым не топтать жертву слишком (она знает, что все знают, и потому держит чувства в узде).

Ее речь деловита (она боится упрека в витиеватости) и всегда как бы дотошна: «Скажите, пожалуйста, как располагались по времени ваши поступки. Или все обвалилось разом, как снежный ком?..» — она и здесь дает тебе неприметный шанс, дает варианты, хотя и строгим голосом. А когда из человека выдавливают покаяние, когда он готов встать на колени и, взыв, молить, она тоже готова встать рядом с ним и молить. Но эмоций не будет. Она вдруг снимает очки, вроде бы протереть стекла платком. И тебя уже не видит. Ты для нее в белом смутном пятне — как в белесом смутном тумане. (Как на английском побережье. А когда ты далеко в Англии, тебе не может быть так уж больно.)

— Виталий, доложите нам, — говорит она, сняв очки и не дав себе заплакать. (Виталий — чистенький, в белой сорочке секретарь-протоколист, он же *Секретарствующий*. Он, конечно, доложит, если ему так сказали. Он обязан. Он не спросит — зачем. Тем самым, пока он переберет листы и с одного из листов зачитает, для жертвы передышка.) Голос ее даже требователен: правда, она требует с прилизанного и чистенького *Секретарька*, а не с жертвы, то есть не с тебя. Но при всем том голос строг — она *строго и требовательно участвует*, и никто из сидящих здесь судей не сможет этого отрицать, никто не бросит ей вполголоса известного своей глубиной упрека: «Вечно вы своих поддерживаете!» — справедливого упрека, ибо ты тоже для нее свой по сопереживанию: по родству всех, кто оказался жертвой.

Когда дело закончено и все уже расходятся, у *Седой в очках* женщины возникает тоска, оттого что

она помочь не смогла. (У большинства судей, как известно, возникает желание постели. Они идут зачинать.) Она в этом смысле идет поминать. Она ведь не дала своему чувству выйти наружу, когда тебя клевали и долбали (она трусовата, она это знает), — зато теперь чувство поднялось и долго гложет ее.

Простоватый, или *Социально яростный*, вроде бы тоже во время спроса не подвержен сексу. (Его страсти бушуют в другой сфере. Его торф горит в другом слое.) Однако с запозданием судилищная сексуальность в нем все же пробуждается. Она в нем созревает медленно. (Я никак не вгляжусь: его возраст переменчив — в соответствии с этим *Социально яростный* может выглядеть по-разному. Но скорее всего его зовут Петр Иваныч, он жилист, скуласт. Волосы жестки и налези на низкий лоб. Кепка. Не сомневаюсь, что он чует людей издалека.)

В числе других он набросился в очереди за маслом на пробиравшегося в обход мужчину с интеллигентной внешностью — сначала, когда все кричали, он даже его защищал, оправдывал. Но в одну секунду что-то в его психике переменялось, и вот он уже тянулся к хлипкому горлу, а остальные били — раз! раз!.. хилый интеллигент упал. Подскочила свистящая милиция, а народ тут же расступился, разбежался. И только он, Петр Иваныч, остался стоять. Уже и интеллигент вскочил с земли и трусцой, даже не озираясь, шмыгнул в толпу (так оно надежнее). А Петр Иваныч стоял — происшедшее было настолько его делом, настолько делом и

смыслом жизни, всплеском души, что убежать означало бы отказаться от самого себя. Нетрусливый и по-своему отважный, он ждал, чтобы к нему подошла милиция. Он тяжело дышал, и он не оправдывался.

(Хотя, в общем, он даже не ударил: он только тянулся к чужому горлу.)

Он хочет, чтобы за судным столом выявилась твоя бесполезность (ничемность, жалость), которая рано или поздно все равно приведет тебя к известной грани, за ней уже нет святого. Он хочет, чтобы это выяснилось (и чтобы как рентгеном высветилось через спрос), после чего наконец — в поле. Рыть траншею. Работать!.. (Нет, не до полусмерти, зачем уж так, мы не китайцы — можно и на фабричку, на самую обыкновенную фабричку, без новшеств, пусть вкалывает. И пусть поест пищу работаг, не всегда горячую и всегда паршивую. От которой у него, к примеру, уже много лет как скукожился желудок и нажилась язва. Пусть-ка его там пожует, не отчаиваясь, эту пищу да поразмышляет. Пусть подышит заодно желтым, иногда даже красным с желтью дымом, что валит из трубы сутки напролет.) Но лучше все-таки траншея, тут равной замены нет — траншея, и чтобы длинная, чтобы до горизонта, лопата да кирка, и только чувствуешь, как напряжены мышцы и как с каждым взмахом жизнь уходит за дальние холмы. (За судным столом *Соц-яр* всегда прирастен. Не скрывает этого. И если кто-то попытается тебе помочь поблажкой, то и на себя навлечет его неукротимую ярость.)

После судилища он не знает, чем себя занять. После долгого сидения за столом не хочется ехать транспортом — часть пути он идет пешком. Он идет домой, и как-то само собой он делает добрые дела. Помог старухе перейти дорогу. Какому-то работяге помог донести до метро здоровенный ящик. Кому-то торопливому уступил дорогу. Тяжело жить, но выдюжим, а? В сущности, неплохие мы люди, думает он. Прост, но ведь мил наш город. Надо работать...

Он идет по родному городу — глаза туманятся, счастье бытия пьянит. И только тут на подходе, в двух шагах от дома его достает подспудная суть судилища. Он, конечно, не связывает одно с другим: он только чувствует, что вдруг переполнен желанием. Человек простой, он тут же и решает, что какое-то время, видно, не занимался он приятным семейным делом, и спешит — быстрее, быстрее домой, и уже с порога, едва помыв руки, заваливает жену на двуспальную тахту. «С ума сошел! Даже не выпили помаленьку», — побряхтывая, сердится она. «Хренота. Только командировочные твои любят перед этим выпить. Для храбрости!.. Мужику, если он в силе, ни к чему!» — смеется он. (Он хорошо выпьет после.)

Снять с себя чувство вины. (А значит, искать и найти виноватых!) В моих отношениях с судилищем какая-то моя часть так и рвется, в обход слов, выйти из меня прямо на сукно их стола, наплакать там огромную лужу. Лужа, пожалуй, станет подтекать под графин, и *Тот, кто с вопросами*, сидящий близко, будет косо посматри-

вать, нет ли на стенке графина трещины. (*Секретарь-протоколист* посматривать не будет, знает, что трещин нет.) Может быть, этой луже слез дать выйти из меня еще ночью, сейчас, загодя?.. Вот ведь какая мысль: дать выйти моей вине заранее. (Может быть, в этом и замысел бессонницы!) Чтобы днем, поутру, когда меня призовут, быть уже готовым к разговору без затей и подспудностей — пришел, увидел, поговорил!

Топчусь на кухне. Газ я зажег, синее пламечко газа ровно держится над плитой, не поставить ли вновь чайник?.. Конечно, чай не нужен. Конечно, нужен бы сон.

На кухонном столе крошки — значит, после вальерьянки я пил чай с этими черствыми пряниками?.. Уже не помню. Так же и с таблетками (не считал! не помню!). Голова болит, едва только касаюсь головой подушки. В лежачем положении давление на голову увеличивается — закон природы. Боль становится очень живой, вскрикивающей и взвизгивающей, однако принять таблетку, то есть следующую таблетку, я не решаюсь. Предыдущая могла еще не вполне сработать. (Не понижать давление слишком.)

На кухонном столе крошки, вот они, но разве реален этот ночной стол? этот кухонный стол с мелкой крошкой от ссохшихся пряников?

Реален *тот* стол. Он не умозрительен, не *идефикс*: он живет. Как живет реальная ночная гора (как двуглавая гора Эльбрус — с правой и левой половинами), которую ты сейчас не видишь, но которая, конечно же, находится на Северном Кавказе — стоит на своем месте. Стоит и покрыта на вершинах снегом.

(Не разбудить ли жену? как томительно!)

Чувство вины теперь уже глубже, чем я: оно на большей глубине, чем я, и чем родство с женой, и чем все мои родные. Оно внедрено, вбито в меня, и, когда я заглядываю в него (в это чувство вины), мне там слишком темно: темные круги.

Страх — сам по себе чего-то стоит. (Уйдет страх, а с ним и жизнь, страх всего лишь форма жизни, стержень жизни. И не надо о страхе плохо...)

Мне нехорошо. (Страх толкает к общению.) Но будить жену или будить дочь — это опять беготня из комнаты в комнату, таблетки, ночные хлопоты. (Долгая возня, как с больным. Я не хочу лежать и чтоб возле меня стояли, спрашивали, успокаивали. Мне станет совсем плохо. И ком в горле.)

Я мог бы сейчас пойти в комнату жены и лечь там на краю постели, не касаясь ее (постель широка), но слыша ее живое присутствие — мне бы этого хватило. Мне бы хватило и посидеть на стуле, слыша ее дыхание. Но ведь едва я открою дверь, она проснется и начнет беспокоиться. Если б спала!..

Когда я был мальчишкой, как-то среди ночи (и в некоем смутном волнении) мне захотелось побыть, пообщаться с мамой, а она спала. Войти и будить ее я не решился. Дверь была прикрыта. И вот, колебавшись минуту, я лег прямо у ее двери и только просунул пальцы под дверь в ее комнату. Мои пальцы были там, где она, и мне этого хватило. Едва пальцы и пол-ладони оказались в ее комнате, сердце стало биться ровнее, я мягко задышал. (Сладость сна ударила в несильный детский ум и зато-

пила его.) Я так и уснул. Проснулся я рано-рано утром от сильно подувшего в ту ночь ветра со снегом (в ту ночь выпал снег далекого тысяча девятьсот сорок какого-то года...).

Жалкий, я ищу виноватых.

— **Вы** сказали, что долго мыкались с кооперативной квартирой, чтобы отселить сына. И вдруг в течение трех месяцев вы ее получили?.. Каким образом?

Спрашивает *Тот с вопросами*. Высоколобый, с залысынами.

— Как вы получили эту квартиру? Ведь я бывал на всех комиссиях исполкома — и стало быть, вы получили в обход исполкома?.. как?

Я молчу. Я дал взятку, вот как. Точно такому же человеку-чиновнику, как он. Тоже с залысынами и тоже бегло спрашивал. (Удивительно, что именно он спросил. Или — не удивительно?.. *Ты спросил.*)

— Может быть, вы дали взятку? (Он давит. А я уже не в силах отказать себе в небольшом удовольствии.)

— Да. Может быть.

— Как?! Как? — раздалось со всех сторон, вот уже на какой след напали.

И сразу в крик:

— Да вы отдаете себе отчет в словах?! Мы поднимем бумаги того года и присовокупим вам дело о взятке!..

Я, конечно, испугался. (За удовольствия платят.)

— Нет... Не помню... Да я...

— *Не помню! Не помню!* — передразнивает *Молодой волк из опасных*. — Он не помнит! У нас у всех

дел по горло, однако же мы *помним*, что пришли вас слушать! Кто вы такой?! Вы думаете, у нас много свободного времени?

— Ничего я не думаю... — говорю я машинально.

Красивая женщина чеканит негромко, но всем слышно:

— А надо бы.

Ей лишь бы сказать. Острит. Но не виню. Ведь и мне лишь бы оправдаться.

Потребление факта или фактов для них, в сущности, малоинтересно. Им интересно потребление души, и пока человек не раскрылся и не выпотрошил себя, им нехорошо. Их раздражает сокрытие. (Им не нужно твое припрятываемое, но ты его им отдай.)

6

Однако принадлежность им твоей души и принадлежность им твоего тела находятся (как ровен ход времени...) в обратно пропорциональной зависимости. Попросту говоря, чем меньше принадлежит им тела, тем больше хочется забрать твоей судимой души.

Скажем, виноватый солдат былых времен — ни во что не ставя тело (и ни на чуть не отдавая душу), он сам кричал: «Расстреляйте, братцы. Расстреляйте меня!.. Стрельните гниду!» — и ползал, вопил, умолял. И кто-то (тоже не влезая в его душу слишком) соглашался: «Расстреляйте его! Стрельните гниду!» — и, построив ряд, выставляли ружья, и ничто в этой картинке не напоминало стол с графином, разве что бедолага попросит в последний раз напиток, а кто откажет?..

Во времена подвалов уже расспрашивали. И поскольку претендовали на часть души, постольку же приходилось отпускать часть тела. Потому и не могли теперь просто так, без слов и расспросов ставить к стенке — потому и объявился *подвал*, где можно спросить и где, заодно, с плиток удобно вытирать все жидкое, кровь разбитого носа или твои обычные сопли. Могло случиться, что человек уписывался от ожидания пыток, от беглого взгляда на набор инструментов. Человек как бы и тут ловчил, пытался отдать свою жидкость как часть своего тела, вместо души — пытался отделаться малым и легким. (Это облегчало спрос. А плитки пола быстро-быстро замочит какая-нибудь старуха или свой же брат-подсудный, который поначалу думает, что его только за этим и привели — вымыть полы, замазать вонь.)

Уже важно было повозиться с виновным, порыться в душе: человек упорствовал. Приходилось исследовать его разговоры, его нетвердые или колеблющиеся поступки. Он и сам сначала удивлялся, а потом и ужасался своим колебаниям и мало-помалу признавал — да, было; да, враг. В помощь размышлениям и была боль. (Боль не давала человеку обманывать самого себя.) Один из родственников Бухарина, преследовавшийся уже после знаменитого процесса, рассказывает: «...В известных всем подвальных пытках тех лет меня поразило присутствие там бытовой, обыденный ритм жизни. Кровати тех, в чьи руки ты попадал, стояли там же. Некоторые были опрятно застелены. Кто-то из них сидел и шил иглой, когда тебя уже били. Он только изредка поднимал голову на твой крик и

продолжал штопку. Казалось, что тут разместились примитивная мастерская. Правда, жертва кричала, зубы, рот и нос почти сразу были в крови... Заметил я там *Красивого* молодого человека. Он опаздывал на какое-то свое свидание. Он поглядел на себя в зеркало, поправил кепочку и заторопился. «Я пойду. Мне надо. Я потом *наверстаю...*» — на ходу объяснил он своим сотоварищам, в то время как те продолжали избиение...»

Во времена белых халатов судившим доставалось твоего тела еще меньше. Тело им почти не принадлежало: разве что перед инъекцией можно было растереть ваткой твою вену, можно было позвать-кликнуть медбрата, чтобы тот, заламывая тебе руки, связал тебя, — вот, собственно, и все.

Но уж зато душа, ум почти полностью были в их власти и в их возможностях. Не зря же свое вмешательство в кору больших полушарий они объясняли твоей *душевной* болезнью, — вмешательство, в результате которого ты вообще мало на что реагировал. (Если не считать вдруг объявившейся нелюбви к птицам, вспархивающим с подоконника. Но и это проходило. Инакомыслящий превращался в тихое животное, отчасти в ребенка; ел, пил и спрашивал о фильмах, которые изредка им показывали: «Это про войну?» — как спрашивают малоразвитые дети.)

Старый стол, покрытый сукном, как-то особенно ощущал прикосновение графина, его прохладное донышко. (Влажные круги пропитывали сукно до гладкой поверхности стола, постепенно высыхая.)

Эволюция завершилась тем, что спрашивающие уже никак не могут претендовать на тело (даже и в виде уколов, даже и в виде подкормки мозга). Но душа — вся их. (Потому-то они так...) Спрос, который предстоит мне завтра, — это люди, которые будут рыться в моей душе, *только и всего*.

Руки, ноги, мое тело для них неприкосновенны: ни вогнать пулю, ни забить кнутом, ни даже провести курс «Аленки» — ничего нет у них, и что же тогда им остается, кроме как копаться в моей душе. Так что пусть их. Пусть.

Раскрыть, раздернуть, открыть твое «я» до дна, до чистого листа, до подноготной, до распада личности...

Я знал человека, женщину, которая при мысли о завтрашних расспросах (о предстоящем ей обычном нашем судилище, все равно по какому поводу) сворачивалась телом в клубок, в утробное колечко, и тонко-тонко выла. После этого ей делалось легче. И она даже садилась за телефон поговорить, поболтать с кем-то из приятелей, расслабляя и дальше свою ранимую душу. (Но не с родными, не с домашними. Домашним она говорила: «Вы меня не жалейте: вы мне дайте повыть».)

Я знаю, что я тоже меняюсь как человек — спрос меняет мое «я», хотя, слава богу, не так уж сильно (не так, чтобы выть). Я знаю людей, которые от предстоящего завтра разговора меняются даже в лице, даже в цвете глаз. Их не узнать. У них меняется речь, походка, выражение складок рта, темперамент. Неудивительно, что в такие минуты они

подчас задешево меняют друзей. И что предают и обманывают людей, которых, несомненно, любят. Неудивительно — ведь это уже не они.

Ночью, в тяготах бессонницы, я подхожу к темному окну: я даже не знаю, чего я жду? чего хочу?.. Я уже убедил себя, что *они за столом* — лишь форма жизни, я убедил себя, что завтрашний спрос пустячен. (Но ведь я еще не вполне снял с себя вину.)

Если, переволновавшись, я умру такой вот нелепой ночью в ожидании завтрашнего разговора, я знаю, в чем буду просить прощения у Бога (если я успею просить и если он о вине меня спросит). Да, как все. Да, сначала приучали и приучили. Но даже когда мой ум перерос их выучку, я так и не сумел (вместе с моим умом) выпрыгнуть из образов и структур этой жизни. Так и жил. Во всяком случае, из одного мифа я не выбрался и на полшага. В сущности, я буду просить прощения (и виниться) только в том, что принял суд земной за суд небесный.

Хочется среди ночи пойти в наш скромный районный исполком (где завтра меня будут спрашивать), пройти туда среди ночи, дав инвалиду-вахтеру полбутылки водки, — пройти и посмотреть стол, когда он без сидящих вокруг людей. Потрогать его ладонью.

— Ну?.. Чего ты от меня хочешь?..

Ночь. Не могу уснуть.

Ища, на кого переложить ответственность и ответ (вину), мой мозг среди ночи честно трудится и пашет, располагая, расставляя столы по времени — так меня учили и школили, — я пробиваю время *назад*, то есть вглубь, где вырисовывается стол-су-

дилище лагерных времен, с его серенькой официальностью, а затем (еще глубже) знаменитые тройки и ревтрибуналы, когда за столом всего трое или четверо сидящих. (И когда слова их совсем кратки. Ты молчишь. Молчишь, потому что ты уже не ты («сдать оружие»), потому что надежды мало: надежды почти никакой. Нависая, давят своды избы. Изба казенная. Печь. Дрова жарко потрескивают. Задающий вопросы нет-нет и поглядывает в сторону пламени. Сидят. Нет графина. Есть зато чайник, старинный темный чайник с длинным лебединым носиком, из которого подливают себе плавной струей в граненые стаканы, никаких чашек. Глотают из стакана, обжигая горло, и вот входит *Красивая* или почти красивая женщина в кожанке; под кожанкой кофта, ей тепло, она говорит:

— Жарко... Как вы натопили сильно!)

Мысль пробирается еще более вглубь: мысль нащупывает фигуры в темноте далеких времен, и *там* возникает наконец имя одного из революционеров: Нечаев. Он самый. (Можно бы и еще отступить по времени, но мысль задерживается. Мысль хватается, как хватают первого, кто похож на причину твоих бед.) Я виню его. «Пятерка» так прообразно похожа на все наши суды и судилища. «Пятерка» Нечаева — особое и тонкое место нашей истории, когда передоверили совесть коллективу, и отмщение — группе людей. (Именно Нечаев со товарищи оценили жизнь Иванова и, убив его, от нашего общего имени сказали: «Аз воздам».)

Нечаева заточили до конца его дней в Петропавловскую крепость. (В одиночку: в одиночную тюремную камеру.) И нет сомнения, понимал ли он,

какую новую историю он начал, в первый раз убив человека коллективно и под коллективную ответственность, — понимал. (Не каялся.)

А в наши дни уже только то, что твое «я» не открывалось и не выпотрашивалось, как вывернутый карман, было ясным знаком, что ты замкнулся и не хочешь открыться коллективу, народу. Знак равенства, кстати сказать, устанавливали сами. (Я громыхаю словами, которые есть теперь во всех газетах. Хочу, чтобы стало легче.)

Ну, хорошо, хорошо, пусть вся моя жизнь — пост-нечаевщина.

Подумать только: что с чем и кто с кем, оказывается, меж собой повязаны!.. Я, посреди бессонной ночи, с синими от заваривания валерьянки пальцами, уже отсчитавший себе капли (две ложки) и вынуженный впрок очередную таблетку клофелина, — я, напуганный и взвинченный нелепым завтрашним вызовом, — с одной стороны. И супермен Нечаев — с другой. Но ведь именно оттуда МЫ и пришли, передоверяющие совесть и душу группе. (Партия всегда права, сказал в свою трагическую минуту умный человек Бухарин.) Они всегда правы. Освободился?.. Не смейся. Не смейся самого себя. Завтра утром тебе предстоит идти и объясняться с обычными людьми, которые всего лишь иногда будут говорить «мы», и это короткое «мы» приводит тебя в ужас, в страх — разве нет? Завтра ты будешь оправдываться и объяснять, хотя ты уже наобъяснялся за долгую свою жизнь (неужели мало?). Сердце бухает. Перебои. Экстрасистола на втором ударе (опасная, я знаю). И испарина на лбу. Прислушиваясь к ударам, я отмечаю толчки серд-

ца, как падающие капли. (Зависшая на волоске жизнь.) Не вытекла ли вся вода? — вот вопрос. Капнет спаренная капля раз, тук-тук. Капнет другой раз. А потом вдруг стоп — капля призадержалась, зависла, а стука больше нет. Капля висит. Но она не падает. Воды нет.

Что чувствовал Нечаев, проведя десять лет в одиночной камере? — мой ему привет через столетие. От моей ночи — к его ночи. От моего *стола* — вашему *столу*, господин Нечаев. На излете идеи (идея кончилась) миллионы жалких, и я в их числе, все еще трепещут от постнечаевщины наших скромных судилищ: мы все еще слышим в своих генах исторический, скорый суд вашей боевой «пятерки». Ничуть не виню. Винить — это сложность и... большая работа. (Я просто хочу на вас все свалить.) Гомо сапиенс, скромный пигмей истории, перед тем как завтра пойти на обыкновенное очередное судилище, ничего не хочет, кроме покоя. И хотя бы чуть-чуть поспать. Не винить, а только поспать... Я ведь и заранее знал, что не стану винить. Через толщ времени меня тянет просто и по-человечески поинтересоваться и, может быть, так же простецки сказать ему что-то на «ты». Как, мол, тебе спалось, старина Нечаев, в одиночной тюремной камере? Ходил ли ты взад-вперед? И как ты обходился без валерьянки? Слушал ли пульс, случались ли перебои сердца?

Так удобно свалить на него, на них ответственность. (Я и свалю.) На ночь глядя мне нужен виноватый. Мать их так! — злоблюсь я на большевиков всех времен, хотя мне

только и надо от них, чтобы на них лежал ответ за мои ночные страхи; и тогда я посплю. (Чуть-чуть поспать.) Я догадываюсь, что Нечаев и другие революционеры тоже не первоответчики, хотя они и довели дело до весьма высокой кондиции, — но кто же тогда?.. — но тогда я ищу и взыскую с нашей древней общины (больше не с кого; хотя бы *это* не трогать). Но что, если суть вопроса и ответа залегает еще глубже, чем община, уходя в темную перво-родную плазму человеческих отношений...

Во всяком случае, я не помню себя *до* этого. Я, вероятно, не жил вне чувства вины. Очнувшийся, я все равно не помню себя до проделанного надо мной опыта, как не помнит человек слишком раннее детство. В моем пред-детстве, в самой его глубине колышется, как вода, хаотическая бездна, смутная и темная (в нее уже не заглянуть, не увидеть). Оттуда, как из колодца, доходят до моего сегодняшнего сознания зыбкие смещения светотеней, темные блики и заодно глухой звук (как бы звук похрустыванья под чьими-то тихими шагами). Там все уже не для меня, не для моего ума и даже не для моего подсознания, и все же — это мое. Это «я». Это и есть «я» — и тихие звуки оттуда, как похрустывающие камешки моей невнятной вины. Все, что я о себе знаю.

Вблизи реки Урал образовался залив, подковообразный и довольно вытянутый (но не старица, просто залив), — все это в детстве.

Там мы однажды нашли стол (взрослые дяди

привезли его на грузовике для выездной гулянки — привезли, да и оставили). Стол валялся и по-маленьку мокнул под дождями и вороньим пометом, пока мы, мальчишки, перевернув, не спустили его на воду как необычный четырехмачтовый корабль. Мы подгребали руками, и, забавное корыто, он плыл по заливу. Мы нашли также свалывшуюся скатерку (все с той же гулянки), из нее, конечно, сделали парус, а из ее обрывка, на одну из ножек впереди, — флаг, конечно же красный!.. Под красным флагом и под восторженные наши крики парусник-корыто двигался по заливу.

В непогоду и дождь уральские волны накатывали с реки на песчаную перегородку, так что глянцевая вода залива почти соединялась с рекой. (Промокшие, мы сидели в шалаше, а корабль-корыто плавал и кружил по заливу сам собой, и Вовик Рыжков опасно сказал: «А не унесет его в реку?» — «Так это ж хорошо!» — закричали мы.) То есть воды не хватало самую чуть, чтобы мы смогли вытолкать перевернутый стол и пуститься по течению Урала. Парусник понесся бы вдаль, и все наши сны тогда были о том, как после ливня воды прибыло и нас выбросило в большое плавание.

7

Женщина с обыкновенной внешностью чем-то неуловимым похожа на учительницу средней школы. Единственный человек из судей, она иногда сидит с твоей стороны стола. Вероятно, опаздывает. Вероятно, из-за школьных или своих бытовых дел она частенько пропускает судилица, потому и место у нее как бы неопределен-

ное. (Ей как бы недодали.) Говорит она с аффектацией, всегда со страдальческими и одновременно благородными нотами в голосе; взывает.

— Но где же справедливость! — повышает она поставленный учительский голос. — Требуя от него, не обязаны ли мы требовать справедливости и от самих себя...

Внутренняя осторожность (знание, что ей, сидящей с краю, могут не простить долгие рассуждения) не позволяет ей сослаться на философскую сторону всякого (в том числе твоего) жизненного зигзага, но уж чувственную изнанку она выскажет. Факты несколько в тени — на острие ножа справедливость чувства.

• И разумеется, ей особенно хочется, чтобы ее выступление оценил униженный, то есть тот, с кого спрашивают, то есть именно ты, — оценил чуткость и особую (женскую) справедливость ее слов. Чтобы после суда или после ее страстной речи (в перерыве) ты подошел к ней (или она сама подойдет) — и сказал: ваши слова были проникновенны, вы более других поняли мою боль.

В своих миражах (мираж — игра ее честной души) ей хочется, чтобы судилище длилось как можно дольше и чтобы после каждого ее выступления ты подходил к ней с чувством благодарности и сопричастности. Неважно, если ты, допустим, стар или некрасив, — в миражах все поправимо. Ей хочется, чтобы вы сблизились. (Ей хочется, чтобы и посреди судилища были подлинны человеческие чувства, была страсть. В жизни так мало отпущено.)

Многочисленное человеческое общение с тобой в перерывах не мешает ей в конце разбирательства требовать сурового тебе наказания. Такой вот в

ней перепад. Со страстью вникая в твое психосо-
стояние, в твою жизнь, она давит на них (чтобы и
они, рассеявшиеся за столом, тебя и твою жизнь по-
нимали), но всего лишь одним часом позже, раз-
вернувшись на сто восемьдесят, она уже требует
тебе наказания, уступая в суровости разве что *Со-
циально яростному и Партийцу*. Тут она особенно на-
поминает и лицом, и лексикой школьную учитель-
ницу, уже немолодую. Она горячо выступает в твою
защиту, и одновременно она отвергает тебя (пола-
гая, что этот перепад и даст почувствовать глубину
ее выступления). Ее слова пронзительны и подчас
глубоки.

Она никогда не признается, но, в сущности, если
отбросить условности, ей хочется, чтобы она и су-
димый ею мужчина сблизилась. (Чтобы после раз-
разившейся драмы и известных колебаний она ос-
тавила мужа, а ты жену, и чтобы вы как бы нашли
друг друга духовно и физически.) Спасенный или
осужденный в процессе судилища (это не так важ-
но), ты был бы теперь с ней. Вы жили бы в ее квар-
тире, пока, в конце концов, она не разочаровалась
и не поняла бы свою ошибку. (Она бы поняла. Она
бы, конечно, поняла.) Она заботилась бы о тебе, за-
варивала тебе поутру чай, а потом сказала бы:

— Какой ты оказался все-таки мразью!

И отвернулась бы.

Это важно, что после она опять отвернулась.
(Это смыкается со справедливостью жизни.)

Во время выступления она
нет-нет и соскальзывает на жалость — на жалость
к человеку вообще (на гуманизм). Но следом вновь

требует справедливости, взывая к наказанию. Так и раскачивает себя, меж двух чувств — и раскачивает при этом твою лодку, — то искренне жалея, то искренне требуя кары.

Возможно, характер ее не столь крут (не круто ли я взял), и потому даже в мечтательных миражах дело не дойдет, пожалуй, до драмы и до расставания с мужем. Ей просто захочется (в миражах) пригласить тебя к себе домой и по-доброму, по-человечески обогреть тебя, судимого. От избытка доброты дойти и до близости и только после, вдруг осознав, сказать:

— Милый. (Не яростно, а снисходительно, с мягким укором — *милый*.) Какой ты оказался мразью.

И пусть на другой день стол и сидящие за столом сами с тобой разберутся. Она как они. Снисхождение теперь лишь потачка.

Отношение к этой *Женщине с обыкновенной внешностью*, похожей на учительницу, с моей стороны необычно (и очень сложно); мне бы не сметь даже чуть его прояснить, настолько она, как человек, мне зрима и настолько я боюсь касаться ее души, подавленный чувством моей несомненной к ней любви. Бог простит и меня.

И еще с одним человеком у меня необычные отношения (отчасти как с самим собой). Сложись обстоятельства жизни иначе, я мог бы стать точь-в-точь как он. (В этом и сложность оставшегося сходства, и суть разницы.)

Но где он сидит?..

Если двигаться мысленно справа налево — в торце стола *Старик*. Затем потянулась вся правая сто-

рона: *Седая в очках* — затем *Красивая* женщина — *Молодой волк из опасных* — *Волк неопасный* и — *Секретарь-протоколист* (это уже середина, я вижу секретарька как бы через графин, за силуэтом графина). Двинулись налево, — там первый *Тот, кто с вопросами*, затем — *Соц-яр...* стоп! стоп?.. вот в чем дело: неозначенный человек (с которым у меня сложные отношения) появился за столом совсем недавно. Судья из числа новых. И садится он где придется. Оттого-то я и не вспомнил сразу его место. (И нечего было устраивать считалку.) Неозначенный может сидеть где угодно. За исключением разве что места в торце стола справа, где скалой сидит *Старик*, который приходит (бессонница?) первым, и место его уже не займешь.

Означить его можно так: *Честный интеллигент* (но групповой). Без НО здесь, увы, не обойтись. В отдельных случаях его можно определить более прямо: *Вернувшийся к жизни Н. Н.*, или еще проще: *Вернувшийся* (если при брежневщине он находился в ссылке или в опале).

Он — воинственен. Он из тех, кто не сомневается, что человек, если за ним не присматривать, очень скоро сползает в реакционное болото. Он редко доверяет. Пока он жил, думал, многие пили и развратничали и еще успевали сделать себе имя и карьеру. Еще и богатели! Так что у него счет к нынешним людям, и потому, слушая судимого, он впивается слухом в каждую его оговорку. (Оговорки не бывают случайны.) Вступает он затем медленным тягучим голосом:

— А почему вы (он никогда не тычет; не упроща-

ет) считали, что вы достойны лучшего? Вы, который посмеивался и хихикал, в то время как в обществе... Вы, кто демонстративно отворачивался... Вы, кто...

Перечень его обвинений растет. Конечно, его честность порукой тому, что, когда он разберется, он сам же начнет со страстью тебя защищать. Но обратный ход общему разговору бывает дать трудно. И вот при голосовании, в то время как все «за» твое осуждение, он оказывается «против» (и зачастую остается с неудобным «особым мнением» и в полном одиночестве).

Его стол, за которым время от времени он будет тебя судить, как правило, растянут по всему пространству города, многокилометровый мысленный стол. При таких расстояниях приходится иметь дело с техникой, то бишь с телефоном: это и есть знаменитый *телефонный* стол. За этим столом он особенно известен своей прямоотой и честностью.

Он смутно догадывается, что в нем самом (отчасти) сидит перелицованный большевик. Он ведь воинственен не потому, что он честен и прям. Он честен и прям, потому что воинственен. Первопричина доставляет ему осознанную душевную муку: он догадывается, он знает про упорный яд, скопившийся внутри него, и словно бы обводит всех нас неверящими глазами: «Уж если я такой, каковы же все вы, подонки?..»

Своей спрессованной энергией ему удастся задавать тон среди самой достойной части интеллигенции, и вот уже лучшие люди, умные и порядочные, обсуждают тебя и твою жизнь, сидя за этим столом, протянувшимся (из дома в дом) по всему

городу, через огромные массивы жилых районов. Телефонные края длинного стола незримы и безграничны, но стол есть стол, у стола есть свой торец справа, а там точно так же сидит свой *Старик*, высокоинтеллигентный, а дальше *Седая в очках*, а за ней *Почти красивая* — и — парой, но, возможно, и большим числом — *Молодые интеллигентные* (опустим слово *Волки*).

— ...Не выступил он (то есть ты) на собрании и даже не явился. *Н.Н.* считает, что он оробел. Попросту струсил, — говорит *Молодой* интеллигент.

Старик молчит. *Старик*, как известно, не спешит осудить.

— Осторожничает он (то есть ты) и хитрит, — продолжает в трубку телефона *Молодой* интеллигентный (опустим *Волк*).

— *Н.Н.* так считает? Вы уверены?

— *Н.Н.* мне звонил.

— Вчера звонил?

— Сегодня. *Н.Н.* видит людей насквозь.

(*Н.Н.* конечно, и есть тот самый *Вернувшийся* или, говоря иначе, честный, но групповой.)

Старик, подумав, произносит:

— Бывает, что причина серьезна... Он (то есть ты) сказался больным.

— Вот именно — сказался!

Старик молчит.

— А если завтра тебя (молодой и старику тычет, нормально!) вот так же прижмут к ногтю. Мы ведь не станем раздумывать и говорить, что больны. Мы бросимся на защиту — мы сразу готовы защищать, разве нет?!

Они в пылу тоже зачастую говорят «мы». Они не

говорят «народ», не говорят и от лица народа, но, когда тебя обвиняют от «мы», а ты сидишь в полном одиночестве по эту сторону стола — тоже больно. (Тоже тянет под сердцем. И тоже ощущаешь свою вину, свою несомненную вину и какую-то вечную несчастную проклятость.)

— ...Необходимо сформировать общественное мнение. Скорое и быстро реагирующее общественное мнение, *Н.Н.* так и сказал.

— Однако же нельзя пятнать имя. Нельзя так сразу трогать человеческую репутацию. Нельзя задевать честь... — *Седая в очках*, она и тут защищает, тянет время в пользу судимого.

Три человека, конечно, не говорят одновременно в три телефонные трубки, но, простоты ради соединив три или даже пять или десять телефонных обещаний, можно услышать все тот же общий разговор за столом. (Телефонная интимность отлично отенит паузы и умолчания многоголосого застолья.)

— Дорогая Анна Михайловна! Бог с вами!.. *Н.Н.* сказал, что все эти слова — «репутация», «честь» — сейчас неуместны. Мы живем в постлагерный период. Мы, по сути, все еще в лагере.

— Я — нет.

— Уж будто бы!.. Не упрямитесь. Нужно сейчас же перезвонить Острогорскому. И лучше всего, Анна Михайловна, если позвоните ему вы.

(Давит.) Незримое согласовывание судей — особое качество *телефонного* стола. В поздний час люди сидят по теплым квартирам, не видя друг друга. Стол, протянутый через весь город, имеет дополнительно то свойство, что созван в эти вечерние часы так, что ты о нем не знаешь: созван (или соб-

ран) за твоей спиной. Тебя нет. Но через какое-то время ты сам, призвав всю свою чуткость и приложив усилия, вдруг озаботишься, чтобы этот неявный суд сделался явным. Ты сам этого захочешь. Ты сам (никто тебя вызывать не станет) должен созвать их всех за стол, — найти повод! — сам уставить стол бутылками с нарзаном, а то и с водочкой, сам покрыть скатеркой; возможно, даже сам продумать, кто из них и где сядет, не доверяя до конца их интимности (и лишь в конце разговора, шутки ради, заменить бутылки графином, чтобы все было по-настоящему). Ты сам должен будешь сесть за столом у них всех на виду и чтоб в глазах было достаточно покаяния. И чтоб с первых же их слов свесить головушку набок — мол, виноват; судите.

И еще после, некий период времени, ты будешь жить с чувством вины. И словно бы отчасти запачканный (все еще отмываясь), ты теперь будешь без промедления подписывать все их протесты и письма, и выступать, и делать заявления, не размышляя о сути слишком долго (чтобы не обнаружилось, не приведи господь, даже секундного твоего колебания или замешательства). Таково свойство стола с графином посередине. Или таково твое личное свойство *подпадать* под разбор за столом. Или таково вообще свойство людей, впадающих в грех судилища. (Кто знает?..)

— Тут нет никакого нажима. Ты свободен. И если ты не согласен нас поддержать, ты в наших глазах останешься самим собой и наше доброе мнение о тебе не изменится... — говорят они, лучшие. Они не только говорят, они так думают; они искренни. (Но ведь они еще не за столом.)

Суд обыкновенный (грабеж ли, драка ли) — тебя приводят, скоренько вглядываются в кодекс и, подобрав поточнее статью, дают срок. Бац! — статья есть, срок определен.

И зачем им твоя долгая жизнь, если нарушение очевидно, а наказание сейчас подыщут. Ага. Гражданин К.? Понятно. 152-я прим. Бац!.. Суд в этом смысле похож на старого почтаря, который знай только шлепает и шлепает штемпелем по конвертам с письмами. На нехитрое это место старого почтаря посадили, уже другой работы ему не доверяя, вот он и шлепает. Иногда попадает. Иногда промахивается (не тот срок, не та статья!). И снова, и снова лупит он по отправляемым конвертам. (Как по судьбам.) Бац!.. Бац!.. Бац!..

Конкретное наказание *отпускает* тебя сразу. Как-то пьяненький (так и записано в протоколе) я шел улицей; машина на повороте, тесня меня, круто повернула, я же сгоряча круто пнул ее ногой в бок. Конечно, вмятина. Конечно, на ближайшем углу шофер выскочил к милиционеру. Конечно, взяли — отвели тут же в отделение и до выяснения продержали всю ночь до утра, объявив, впрочем уже загодя, каков будет штраф. Денежный штраф был явно завышен, чрезмерен. Я мог бы возмутиться. Но нет, вовсе нет! я чуть ли не радость испытал, сидя в вонючей КПЗ (сидел там взаперти, в духоте и все думал, что же это мне на душе так хорошо?!). А потому и хорошо, что за свою вину я уже знал наказание. Я знал. Я тем самым вину избыл, тем самым уже *не был виноват...*

Именно поэтому не спешат подыскать тебе наказание, им главное — спрос. А наказать тебя — это тебя отпустить, это значит — ушел, улизнул, спря-

тался: скрылся. (Я уже думал *об этом*. Суд занимается конкретным проступком, в то время как судилище жирует по всей твоей жизни.) В суде ты сидишь на скамье или где-то сбоку на стуле, отделенный от судей. Ты сам по себе. Но если твой стул они придвинут ближе и ты пересядешь с ними как бы за тот же стол рядом, ты становишься человеком *вместе с ними*: шаг сближения превращает тебя из гражданина К. (так он звался в начале века) в близкого им человека, как бы в родственника, в изгоя среди родни, а уж перед родней хочешь или не хочешь — распахни душу. «Ты наш. Ты же весь наш. Мы все вместе», — говорят они, и с этой минуты ты можешь быть уверен, что тебе нет прощения.

Известно, что люди верующие не отдают себя, свою душу навыворот (чем приводили раньше, да и приводят сейчас судей в ужасное раздражение) — дело тут не в особенном их упорстве или героизме. Самым *естественным* образом верующие считали и суд, и всякое судилище — судом земным и ответы давали в соответствии с его незначительностью.

А на многое не отвечали (*в этом я дам ответ только Богу*).

Не раз и не два, возвращаясь с судилища, человек хвастает перед женой или приятелями — я, мол, их перехитрил! обманул?.. я, мол, стал притворяться дураком! — он рассказывает, как он обманул и как именно перехитрил, и вокруг с удовольствием смеются: «Ха-ха-ха-ха!..»

Обманул-то он обманул, но судилище длится. Сто двадцать пять раз обманул их, но на сто двадцать шестой они его достали. Судилище не спешит, в этом его сила. «Как это так — помер? Отчего по-

мер?» — «От волнений. Он умер вечером. А ему еще только утром идти в комиссию...» — охотно вам объясняют соседи. Так что кто кого обманул, скажет время. Структура живет долго. Структура спрашивающих. И то, что каждый из судей сам (и притом много раз в течение жизни!) попадает под точно такой же спрос, ничего в наборе судей не меняет — образ и облик спрашиваемых незыблем.

Перед тем как войти, пять человек сидят на заметном расстоянии друг от друга. Молчат. Никто ни о чем не спросит. Каждый зажат в своей жизни. (В ожидании вопроса. Нехорошие минуты.)

А те, кто за дверьми, сидят за длинным столом. Дело как дело. (Изнанка человеческого унижения.) Но если почему-либо им не удастся покопаться в твоей жизни, запустив туда руки по локоть, они сворачивают свой спрос. Это удивительно! Они вдруг отпускают тебя с миром. Мол, да. Мол, такое бывает. (Живи.)

Одного старикана уже было довели до истерики, но тут он полез в нос и вытянул длинную зеленую соплю. И был отпущен. (Он невыносимо долго выбирал ее из носа, чуть ли не наматывая на руку.) Другой инвалид, когда команда, сидящая за столом, взялась за него слишком ретиво, стал от волнения издавать неприличные звуки. Звуки не были громкими, но все же неприличны, сомнения тут быть не могло. И вновь сидящие за столом очень быстро старика отпустили. Это называлось: *обсуждение пошло по неправильному пути*. А для обоих стариков краткость вопроса стала спасением. (Бог, это известно, хранит простые души.) Стариков как раз

изгоняли с насиженного места — их выселяли куда-то за город, «поближе к природе». Их было пятеро. Глубокие старики, они оказались из числа тех, у кого на старости лет документы все еще были не совсем в порядке (прописка, право на жилплощадь). Их, разумеется, выселили. Но прежде, чем выселить, их должны были, конечно, расспросить по всей жизни — не были ли в плену? почему в таком-то году ушли с работы? почему так неуживчивы с соседями?.. И так далее и так далее, что сводилось к простому и известному: *виноваты*.

Как сообщалось, из пяти стариков Октябрьского района двое после расспросов так поднапугались, что умерли, не прожив и недели. Третий умер накануне спроса, переволновавшись. Но двое остались живы — те самые, разумеется, кого не слишком долго расспрашивали: тот, кто издавал звуки, и тот, кто наматывал на кулак никак не прерывающуюся соплю.

Не в антиэстетике суть. А в том, что, если человек не подключал свою душу к спросу, спрашивать его не хотелось. Столь умелые и настырные, они вдруг словно бы теряли свое умение.

Помню пьяноватого человека (нет-нет да икая, он сидел на стуле и смотрел в какую-то точку на противоположной стене). Его уже дважды выкликнули: «Запеканов?.. Кто здесь Запеканов?» — а он все сидел, смотрел в точку. Только при третьем вызове он от нее отвлекся и прошел в кабинет, где заседали и спрашивали. (И ведь как сошло хорошо! Пьяница вел себя бесстрашно.) Он знал, что ни унюхать запах водки, ни попрекнуть красными глазами его сегодня не могли: водки он не пил. Он просто съел два тюбика мази от чесотки.

Спрашивающие из огромного своего опыта знали и уже привыкли, что пьяница (по какому бы поводу он ни был зван) приходит на обсуждение трезвым (впервые за долгое время). И потому он особенно придавлен, несчастен, соглашается со всем на свете, даже плачет. А Запеканов в тот день был скорее отважен и уж никак не робок. (Он несколько странно острил после двух своих тубиков. Но ведь никто и не ждал от него большого интеллекта.)

— Я половину из вас видел в гробу, — так он острил в ответ через каждые два вопроса на третий. Бессмысленность обсуждения была очевидна. И когда кто-то из сидящих за столом, преисполненный иронии, спросил: «Не в белых ли тапочках?» — Запеканов отвечал, продолжая:

— Нет. На босу ногу.

Они не копаются в душе, если человек явно от них отличается. Если он лилипут, или поражающий видом альбинос, или отмечен очевидным калечеством, тут они иссякают сразу: спрос вдруг кончается, и лилипуты, альбиносы и калеки уходят, по сути, нераспрошенными.

Заики. Немножко дебилы. Чтобы ускользнуть от вопроса, неплохо перед каждой своей ответной репликой немного помычать. (Но раздумчивое «м-да» не спасет, потому что слишком обыкновенно.) Хорошо получается, если тянуть и гласные, и согласные как можно дольше, с растяжкой: «Ммм-мыыы. Я вот м-мммы думаю...» — но и тут все еще не отвечать на их вопрос, а начать разок-другой снова: «Ммм-мыыы. Я думаю, ммм-мыыы. Я думаю, мммы-ыы...» — с растяжкой и со вкусом ко всякому звуку. (И не скромничать. Мыкать. Тут ведь срабатывает не гу-

манность сидящих за столом судей, а их недостаточные (все-таки!) претензии на роль, всеспрашивающего Бога — претензии претензиями, а все же они трусоваты. Знают, что до Бога им далеко. И потому, суеверно боясь накликать беду на свои головы, они отпускают несчастных с миром, оставляют *убогих* — у Бога: ему их и оставляют, мол, это не наши.)

Всех остальных они считают своими. Зато уж все остальные в их руках.

Ночь.

Когда-нибудь, совсем старый, я приду на последнее в своей жизни судилище: сяду перед последним своим столом. (Где, может быть, как раз и будет обсуждаться мое право заказать гроб: возможно, с гробами будут большие сложности, нет досок, нет гвоздей; недавно по радио, по программе «Маяк», передали, что какого-то мужика хоронили в детском гробу — бывает!) И пойдет своим ходом последнее со мной разбирательство. Я пришел. Они сидят. (Дать ли мне гроб и как скоро. Заранее дать или пусть жена колотится в очередях. Жена ведь в очереди постоять сможет, и дети смогут — у него дети взрослые! — обязательно скажет кто-нибудь за столом.) И поскольку не альбинос, разбирательство будет разбирательством долгим и серьезным. Так что я еще с вечера буду волноваться. И спать буду плохо. И сбивать давление, и пить валерьянку. А утром приду.

Они будут сидеть в таком же несложном рассредоточении вокруг стола и графина. Те же люди. Ничуть не постаревшие, они будут переговариваться, когда я войду, и чистенький *Секретарек-протоколист*

не колеблясь произнесет: «Проходите. Садитесь...» Левее его будет *Задающий вопросы* интеллигент, он уже думает: как? с чего начать?.. Слева от него молчаливая *Продавщица из гастронома*, ей все так же еще семь лет до пенсии. (И те же белые пухлые руки.) Не может не попасть в поле зрения и *Красивая женщина*: у нее те же первые морщинки. И ничуть не пробилось седины в крепких волосах сидящих с ней рядом *Молодых волков*.

Разбирательство будет долгим и сложным, однако отчасти мне будет легче. Да, я был таким. Да, был и этаким — но ведь конец. Ведь последний раз. Я буду (ничуть не сердясь) пикироваться с моими судьями; и впервые, может быть, не почувствую своей вины. То-то счастье. Как будет — так и будет. Ну и что ж, если выйдет решение гроба не выдавать и если детям моим (они у него уже взрослые!) придется насчет досок самим похлопотать и побегать. Ничего. Пусть. Я уже побегал в своей жизни; похлопотал. Их черед.

8

Тот, который *Честный*, но *групповой*, не любит расспрашивать и мучить. Потоптать, но не сильно. До первых слез, до жалкости только довести, до раздавленности первой — а там пошел вон!..

(Моя мысль ищет. Ночь.) А тощий маленький мужичок, который *Социально яростный* — что он? какой он? — его-то злость ведь тоже от обид (не от ночных, как у меня, обид, а, скорее всего, от скопившихся дневных обид и отделенностей.) Почему бы нам с ним не сойтись? Моя вечная боязнь судилица соотнесется с его вечной социальной оби-

дой?.. Но он непредсказуем. Я вступил с таким мужичком в разговор в столовке (тогда еще были столовые с вином в розлив) — он жаловался, и в те шумные обеденные полчаса я вдруг понял его обиды. Поддакивая, я, как мог, смягчал его боль. Мы выпили, я успокаивал; мы прекрасно понимали друг друга, когда он внезапно ударил кулаком мне в лицо. Сидел напротив — и ударил; удар пришелся по глазам, и сколько-то времени я ничего не видел. И только слышал, как он ругался: «Сволочи!.. Кругом сволочи... Кругом одни сволочи!»

Молодой волк из опасных — я вижу (ночным зрением), из какой травинки вырос и как качается этот стройный стебель. Как он жмет тебе руку — дай лапу!., жмет, и улыбка распаивает его до самой души; он щедр: он даст тебе денег, жилье, ночлег и, если ты согласишься, даже выпить.

Судилище его томит. (Он иногда ерзает.) После судилища он...

Но в том и суть, что неделимы они, как неделим сам стол. Они — только тогда и ОНИ, когда они вместе. Каждый из них порознь так же обычен, как и я, так же обременен заботами и жизнью и — более того! — так же, как и я, время от времени ждет вызова на разговор за столом, покрытым сукном и с графином посередине. Куда его, как и меня (и может быть, в эти же самые дни), тоже вызвали.

Завтра, когда будут спрашивать меня, он будет «они»; а послезавтра или, может быть, завтра же, но только попозже вечером, когда на другое судилище и по другому поводу позовут его — он будет «я».

Неделимость стола (неотделимость отдельного спрашивающего от всех остальных) я, разумеется, знаю с давних времен, и тогда почему? — почему мысль о личном контакте с кем-то из них не обходит меня стороной? (Что поделать, ночная мысль. В ней нет логики.) Нет уж, ты полюби не одного из нас, а нас всех и *вместе взятых* — говорят они. И среди ночи, под обвалом бессонницы я готов любить их всех — мне кажется, это достижимо. (Это трудно понять.)

Смесь любви к ним и страха перед ними меня угнетает (если бы я мог кого-то из них возненавидеть, я бы просто-напросто себя зауважал). Я ведь люблю их заранее — задолго до того, как они начнут меня топтать, мне хамить и мучить меня грубой тягомотиной вопросов. Я их люблю, потому что иначе я бы не выжил. Мне пришлось любить, потому что только любя я мог спорить с ними, эластично дискутировать, вспыхивать от несогласия и выискивать проблески их доброты.

Общаться с ними мысленно (любя их), перед тем как лечь спать, для меня важно, даже обязательно. Потому что иначе утром я не проснусь самим собой. Такова моя жизнь. Я не могу не быть «я». Я ведь уже не могу перемениться. (Если в ночь себя разъярить, я все равно не проснусь воином. В лучшем случае я проснусь истерично кричащим и уже поутру кусающим всех их подряд, опрокидывающим вдруг и стол, так, чтобы на полу запрыгали бутылки с нарзаном — графин не упадет, его успеет подхватить *Секретарь*, это ясно.)

Как-то я даже попробовал вступить загодя в личный контакт и даже, помню, смело решил, что приду вечером на чай без

звонка. К кому?.. К одному из них. Это был *Тот, кто с вопросами*, интеллигент; он, кажется, и точно был с высоким лбом, с залысинами. Фамилия — Островерхов. (Или Остролистов?..) Прийти накануне комиссии к нему домой, без звонка, мне показалось тогда моим открытием: показалось, что это будет естественно и очень по-русски. Да, шел мимо. Вдруг надумалось зайти к вам. На одну минуту. Ведь я волнуюсь, это можно понять, скажу ему я... и тут — пауза. Сама собой пауза. (Я ведь смолк.) И как бы выхватывая (перехватывая) из паузы мое усугубляющееся молчание, теперь заговорит он. «Ну что вы! что вы, ей-богу... Что же волноваться! Обычное разбирательство. Вот уж не думал!.. — так он заговорит. — Да вы проходите, проходите. Мы вот тут ужинаем... Но чай еще не пили». Он не только из доброты так скажет, но еще и от растерянности и неожиданности (я даже и на растерянность его сколько-то рассчитывал).

Удивительно, но я угадал! Из прихожей я увидел, что как раз на кухне сидели две женщины, вся его семья, я заметил их чайные чашки (еще пустые), и гудение поспевающего на газовой плите чайника тоже как бы для меня висело звуком в воздухе. Остроградов — вот была его фамилия. Остроградов!.. И, обретя фамилию (вместо *Тот, кто с вопросами*), он сразу стал человечнее. Он не сказал мне в прихожей: «Так чего же вы, собственно, хотите?» — ничего грубого или, положим, отталкивающего не было в его вопросах (да и вопросов не было), но вот растерянность была гораздо большей, чем я предположил. Он, кажется, не знал, как быть: он после первых же слов онемел. Мы стояли в прихожей и оба молчали. От этой предвиденной мной

паузы (но уже слишком долгой) естественность моего прихода в дом стала куда-то пропадать, таять; и наши встречные мысли вдруг заметались от всяческих опасных предположений. Не принес ли он деньги в конверте, не дай бог?! откуда он узнал адрес? — думает про меня он. Не думает ли он, что я принес ему денег? напуган тем, как я узнал его адрес?.. — думаю я.

Молчали. «Проходил мимо и зашел. Вот так. А сейчас я пойду домой», — сказал я наконец. (Повторил уже сказанное на пороге. Теперь я перетаптывался в прихожей.) Я повторялся, отчаянно пытаюсь растерянной мимикой выжать из своего лица хоть что-то человечески определенное и ему понятное. Он в свою очередь тоже пытался: черты его лица метались. «Домой?» — ухватился он за мое последнее слово. Тем самым, как это бывает, он попал хоть на какой-то смысл. Впрочем, сам он этого еще не понял, и по лицу его продолжали бегать мимические светотени, никак человеческим умом не читаемые. Но теперь уже я ухватился за слово. «Да, да, домой. И стало быть — до свиданья», — сказал я почему-то с некоторой торжественностью. И ушел. По спине, помню, ползли холодненькие мурашки, а он шел сзади и вслед мне жаловался: «У нас лифт плохо работает. Ужасно плохо работает. Такой безобразный лифт. И ведь никак не могут починить!» — говорил он, в то время как лифт поднялся без малейших помех, и я в него вошел. Я уехал. Он, конечно, вернулся домой, пошел на кухню — к женщинам и к их чашкам чаю. И там (я предполагаю), прежде чем объяснить им, какое-то время молча приходил в себя под их недоумевающими взглядами.

Когда они вместе — вся их суть и сила *в столе*. Мысль у меня уже прежде мелькнула. Мысль почти ребяческая: побыть за этим столом, когда там никого нет. (Пойти посреди ночи?) Посидеть за их столом: спокойно и свободно посидеть там одному. Подготовиться психологически (и как бы лишить стол его метафизической силы) — это уже кое-что; верное очко в мою пользу. Да, побыть с ним запросто. Да, один на один... А уж ОНИ пусть придут после меня и после меня сядут.

Им будет неизвестно, что я тут уже был. И что я видел стол просто как стол. И что сидел за ним (и мысленно всех уже рассадил по местам). Стол ночью открыт, я буду видеть пятна от сигарет, трещины, облупившийся лак — старый стол.

Переживание было новым в моих однообразных ночных волнениях (я прокрутил мысль в действии: вот я пришел...) Ночь. (Ни ночь, ни утро.) Дом в четыре этажа, офис; у подъезда вахтер, то бишь ночной сторож. Но он вряд ли станет помехой. «Я вчера в комнате заседаний оставил кое-какие бумаги. Мы заседали вчера допоздна... Важные мне бумаги» (или лучше традиционное: забыл зонтик?) — вид у меня достаточно солидный, в руке портфель, а в портфеле в резерве бутылочка водки. «Что, до утра нельзя подождать?» — «Можно. Но боюсь, не смахнула бы уборщица. Она убирает с утра». — «Знаю, что с утра», — он ворчит. А я сую водку.

— Возьми, отец. За беспокойство... — Водку в нашем гастрономе продают в мерзкой посуде изпод фанты, вид отвратительный. (Из «фантовой» бутылки мы дома переливаем водку в старый дедовский графин, он с трещиной и с удивительной мелодией от нечаянного прикосновения — такая

вот звуковая переключка с тем тупым графином с водой, что посередине стола. Но это уж так: эмоция.) Бутылки из-под фанты, не перестав раздражать своим видом, все же выявили со временем неожиданный новый смысл: их удобно дарить, совать как взятку, даже ронять (не бьются). К тому же выгодно — 0,33 вместо 0,5. (Берущему как раз столько и нужно, чтоб выпить в одиночку. Да и пить удобнее. Сторожа, во всяком случае, охотно берут бутылочку, не бутылку.)

Итак, я сую ему 0,33 и прохожу внутрь. Час ранний; вахтер поднимется со мной на этаж, отопрет комнату заседаний, но, конечно, не войдет — мол, ищи. И вот я там. Вот — стол. Мне ведь много не надо. Три-четыре тихие минуты. Я придвину себе стул; сяду. Остальные стулья я воображу. (И судей воображу, если захочу, но я не захочу.) Мне главное положить на стол ладони, ощутить его; две минуты, пусть одна, но в тишине и чтобы с глазу на глаз.

Вряд ли я тем самым разрушу метафизику стола. (Но я к ней приближусь.) И, в ожидании вызова, когда я буду сидеть перед дверьми и ждать, стол тоже будет в некотором смысле меня ждать: он ведь меня и мои ладони будет помнить.

Кого-то из людей вызовут, и кто-то пойдет прежде меня, отирая пот или напряженно прокашливая голос; я же скажу себе — чего это он так волнуется? там ничего особенного: там *стол*.

Поверхность стола — в трещинах. И возможно, со старыми пятнами от стогривших высоких свечей давних-давних лет (я пред-

ставил, что я уже сижу за этим столом — ночью, один). Старый стол будет вполне открыт мне. Я смогу всматриваться в старую фанеровку, как в долгую-долгую жизнь, — я ведь тоже могу сколько-то в его жизнь вникнуть. (Я тоже могу о чем-то спросить.) Я представил, как мягко, бережно трону ладонью поверхность, и на миг она оживет, выйдя из летаргии десятилетий. Мы будем один на один. Старый стол почувствует прикосновение ладони и тихо-тихо ответно дрогнет: ответит теплом в мою ладонь (с едва ощутимым вздохом столетней усталости).

Ночи довольно темны сейчас. (Буду ли я зажигать свет? — вероятно, зажгу.) Но ведь я смогу, если уж я войду в комнату для заседаний, найти стол и в темноте. Быстрыми шагами пройду в темноте к середине — стол ведь всегда в середине — и первое, что я сделаю (еще не взглядываясь), положу ладони, передавая его старым трещинам свое тепло.

Только однажды я видел *Социально яростного* в его доброте — был промельк, картинка бытия; стояли густые уже сумерки; вечер. (А я шел по берегу реки. Я заблудился.) Лес большой, заросли перекрывали путь. И тут *Он* откуда-то выскочил, в руке — керосиновый фонарь старого образца. Он быстро на меня глянул и озабоченно заговорил: «Аникеев я. Аникеев... Идемте. Я провожу вас. Я Аникеев», — речь его была проста, незла. Я почувствовал, что, по сути, он добр (и жаль, что в наших с ним отношениях не случилось таких вот опрощенных обстоятельств, как здесь у реки). Он поднял фонарь: «Пойдемте...» — он не назвался еще раз Аникеевым, считая, что я запомнил. И точно. Возникшее имя было важно. (Это

уточнение — это проваливание *Человека социально яростного* в обычную жизнь *Человека просто* вызвало во мне сильнейшее чувство доверия.) Он поднял фонарь, и в кустах мы нашли вход в туннель под реку. Мы шли. Красноватые отблески фонаря бежали впереди нас по стенам туннеля. И под ногами тоже — пятнами света по мокрой земле.

9

Тот, кто с вопросами похож на высокооплачиваемого инженера (он и есть инженер, умный, работающий где-то в рассекреченном п/я). Высок ростом. Речист. Но если надо решать, он непременно оглядывается на всех них; и странно видеть его в растерянности, умного, высоколобого и с такими красивыми кистями рук. Череда вопросов, с которыми он на тебя насаждает, маскирует его (замолкни он, перестань задавать вопросы, убавь он страсти, и все тотчас увидят, что он просто *Коллеблющийся интеллигент*). Вопросы и есть русло, которое он не покинет, боясь своего «я» и своей зыбкой воды на быстрых перекатах. Молодец. Знает себя.

Он с подавленным честолюбием (давно уж не волк). Его лучшие годы позади. Он знает это (но еще держится). Иногда он непонятен: вдруг спрашивает так озабоченно и вкрадчиво, словно боится, что подо мной проломится лед.

...Она носит свитера, свитер отлично облегает ее грудь, по нынешней моде чуть отвисшую и все же выступающую сильно вперед. *Красивая* женщина, но верную оценку можно

дать ей, только извлекши ее из-за стола и поместив в строгую рамку обстоятельств. (Хотя вне стола она тут же многое утратит. Стол с графином, люди, процесс разбирательства — это и есть ее рамка.)

Ночь... сидя на кухне или бродя в коридоре, сонный и больной переживанием, ты вызываешь в памяти ее лицо, правильные черты и вдруг (неожиданно для себя) говоришь ей в ночной тишине:

— Да я же люблю, люблю тебя. Как ты этого не понимаешь?! — Сказал как выдохнул: и так несомненна серьезность слов, и подлинное возмущение бьется в твоём голосе. Хотя все это, разумеется, ночной бред.

Старик мудр, но встревожен напором некончающихся перемен. Ему кажется, что его мудрость не поспевает за ходом жизни. Он даже пуглив. Когда он у себя дома, он впадает в минутное отчаяние (и звонит *Секретарю-протоколисту* — мол, развей мои страхи. Он не говорит напрямую «развей страхи», но он спрашивает: «Какие завтра дела?» — или: «Что там с Затравиным и его затянувшимся делом?.. Что там Ключарев?» — всплывают разные мелкие уточнения, и он спрашивает еще и еще).

Сев за судный стол со всеми вместе, он погружен в себя и в свою долгую (затянувшуюся!) жизнь. А я, под обаянием его молчания, думаю, что он думает обо мне.

Сильная сторона моих отношений со *Стариком* — та, что он тоже ночью не спит, мается бессонницей, и хочешь не хочешь задумается о том, кого ему завтра судить. Точно так же,

как та женщина, *Седая в очках*, — он и она, два человека могут подумать обо мне этой ночью. Как все люди, когда они в отчаянии и без сна, я непременно в какую-то минуту застыну у окна (у кухонного, ночного моего окна) и невидящими глазами буду смотреть на мокрую от дождя ночную землю (или на мокрый ночной снег) и вдруг скажу беспричинно, тихо: «Госсподи-ии» — не потому, что я вспомнил Бога, а просто от тишины и безликой немощи. И звук оторвется от слова. Протяжное в звуке «и-иии-и» потянется через пространство, дышащее дождем (или снегом), растаивая в ночном городе до бесследности, до нуля. (И все же оставляя след.)

Оба они на миг замрут. Истаявший звук доплыл. И о чем бы они ни подумали — они уже подумали обо мне.

Я знаю, что женщина, *Седая в очках*, искренне жалеет меня, а она знает, что я понимаю ее состояние — от нашей взаимной жалости друг к другу толку никакого, а все же мы в *отношениях*. Ей важно мое мнение. Ей кажется, что, поскольку я так хорошо ее понимаю, я *без труда* прощу ей, если за столом она вдруг не сможет долго сопротивляться общему осуждающему нажиму и вдруг подпоеет им вслед, вдруг их поддержит. (Тут она преувеличивает. Я прощу. Но не без труда.)

...**В** последние годы осмотрительный, он все еще (если ему дают заключительное слово) умеет сказать.

Расположенность, открытость в лице. Всегда стандартный светло-серый костюм, чуть большего размера, чем нужно. Галстук свободен, открывает белую гладкую шею.

Партиец женат на молоденькой студенточке (он там и тут выступает с лекциями — почему нет?), понятно, что она молоденькая и тоненькая, розовые губки и много-много усвоенных с его подачи просветленных слов. Она из тех, для кого его авторитет и его располагающий к себе серый костюм не поколеблются никакими перестройками — это на века. Она боготворит его. И губы ее дрожат, когда ей хочется добавить несколько своих слов к тому, что сказал он. (И понятно, что это ему льстит, как ничто больше в жизни.)

Ночь.

— Почему вы об этом молчали? Не считайте всех людей дураками — мы видим вас насквозь. Вы для нас прозрачный! — Это *Бывший партиец* заговорил, прорвался (чем ближе пик ночи, тем личностней отношения).

Ты говоришь:

— Но послушайте. Но подождите. Как я мог знать наперед! Войдите в реальное мое положение — я ведь человек: войдите в мою жизнь... (Это для *Старика*. Он молчит. Он войдет в мое положение и в мою жизнь. Но ведь не сразу.)

Женщина с *обыкновенной внешностью*:

— ...только о себе! Он думает, что он в центре земли — он пуп!.. Этот пупизм более отвратителен, чем забывчивость обыкновенного негодяя! Это, простите меня, наш тип! — запальчиво выкрикивает она, женщина с таким хорошим обыкновенным лицом и манерами честной учительницы. (Ей все наше ведомо. И наши типы, и наши прототипы. *Старик* все еще молчит, ах, этот *Старик*...)

От их вопросов и моих (приноравливающихся) ночных ответов голова моя вновь начинает гореть, давление скачет. Но я уже ввязался в спор. Я им отвечаю, отвечаю, отвечаю, и чем их реплики резче и злее, тем более нервны и злы мои ответы.

А ведь надо бы отвечать загодя и поспокойнее. (Надо бы предусмотреть.) Обидно, если не сейчас, среди ночи, а завтра, уже после вопроса, мелькнет искрой и тут же ярко вспыхнет запоздалый достойный ответ. Ах, как он, найденный слишком поздно, будет жалить сердце, и как же досадно станет за неповоротливый ум и суетный язык — вот ведь как! вот ведь как следовало ей (или ему) ответить! — будет вскрикивать позже душа, так задешево во время вопроса обиженная и уязвленная.

Ночь. Взгляд в ночное окно. (Пустая улица. Темные окна в доме напротив.) Оглядываюсь. Какой-то всполох памяти при взгляде на старый сонный будильник. *Зорю бьют...*

...Сидящие люди, войдя в мое сознание, раз от разу укрепляли свои позиции (стол их уже на четырехстах ножках, дубовый, отяжеленный), — они укреплялись там с каждым вопросом. Они уже во мне, это несомненно. Они живут. Вероятно, они и есть разрушение личности (всегда сидящие внутри десять-двенадцать человек, готовые с тебя спросить).

Мне равно неприятно, что меня разрушают годы, и что высокое давление, и что сердце сдает. И что ноги не так крепки. И что я пью валерьянку, чтобы поладить с нервами. Но если о потерях, мне более всего неприятно, что я не могу и подумать о

том, чтобы пропустить завтрашний день спроса и попросту к ним не явиться (не могу же я не прийти к самому себе).

Конечно, здоровый инстинкт возмущается при виде разрушенных людей. (Но я стараюсь себя понимать. Какой есть — такой есть!..) Я уже заметил, что я понимаю людей, разрушенных жизнью. Я их принимаю. И уже заранее готов приобщиться к несчастью — к нищему на улице (их стало так много), к пьянице, сломавшему ногу, к старушкам, которые часами стоят в очередях с одеревеневшими лицами истуканов. Видел позавчера мальчика-дауна, час смотрел и час целый любил его (через него и весь мир). Мои ночные страхи — это я сам. В горькую минуту, когда видишь себя самого среди ночи, с набрякшими (вижу в зеркале) веками, с выпученными от давления глазами, в такую минуту, когда хочется себя жалеть и (хоть сколько-то) уважать, я говорю себе, что мои страхи — это знаки любви. Чем более я люблю растоптанных людей, тем более замирает мой трепещущий лоскут внутри. Бабочка, которая боится вспорхнуть. (Из опыта я, конечно, знаю, что ничего особенного завтра не произойдет. Как ничего не произошло и в предыдущие многочисленные спросы. Меня хорошо и обстоятельно спрашивают. Что-то уточнят. Чем-то несильно оскорбят. И я тихо уйду.)

Ночь. (Я вдруг решил.)

Надо было или перестать думать об этом, или наконец пойти. Ведь я все равно не сплю. И я уже вполне справился с волнением. (А почему не пойти? Ночная прогулка успокоит нервы.)

Прежде всего я оделся, потом осторожно повернул в дверях ключ. (Я умею выйти, не хлопнув дверь.) Я взял с собой портфель-дипломат: во все времена портфель производил на вахтеров впечатление, внушая, что пришел к ним человек солидный. В хорошем плаще, в вельветовой кепке. (Интеллигент шляпу не уважает и не носит — вахтеры это отлично чувствуют.) Мне, собственно, не надо притворяться: вот только одеться поостроже, без небрежности. Всё так. В дипломат легла маленькая бутылка. Я глянул на часы: без четверти пять. Полчаса я буду идти пешком. Серый рассвет. Пусть так.

Серый рассвет оказался темнее, чем я предполагал. Но воздух освежил, ноги шли хорошо, мягко, а ведь те же самые, что и час назад, тяжелые, ночные мои ноги. Я не торопился.

Четырехэтажный офис стоял темным кубом. Как я и предполагал, вахтер спал, но спать он предпочел не у входа, а где-то в глубине здания, так что мои постукивания — слабые, потом достаточно сильные — были на первых минутах впустую. Я уже отчаялся (уже и затея моя стала терять смысл), но вдруг меня надоумило пойти к окнам. Вдоль окон первого этажа, вытянув руку и постукивая в каждое настойчивой дробью, — вот так я шел. В одном из окошек вспыхнул свет. Пятно лица прилипло к оконному стеклу, поизучало меня (каждый из нас смотрел на другого немного как на марсианина), — отпрянув от окна, неразличимое лицо исчезло. Старик-вахтер не спешил, обстоятельно оделся; возможно, зашел по пути в туалет. Наконец он появился и спросил: «Чего?» Портфель внушил ему

сколько-то добрых чувств ко мне, так что он заметно приоткрыл дверь и спросил мягче: «Чего вам?» — уже отчасти с доверием и с уважением ко мне (и, конечно, к самому учреждению, которое поручено ему стеречь. В таком учреждении не перекрикиваются через двери).

Как и предполагалось, мой вид, мое объяснение насчет забытой важной бумаги, понятное желание взять ее до прихода уборщицы — все было убедительно. Глазки старика (он сильно зарос и заспался; возможно, мой ровесник) оцупали меня вновь и поверили. Но с водкой я промахнулся. «Не пью», — сказал он, когда я приоткрыл дипломат и, уже приоткрытый (с бутылкой внутри), подsunул ему под глаза — мол, как? годится?.. Не закрывая портфель, я ждал. Он хмыкнул и сказал с некоторой легкой натугой: «Если бы *стольник*, это бы лучше» — он прикинул уже по новым ценам, взяв с меня, как водится, все-таки поменьше. Бумажник был со мной; я отсчитал.

Оказалось, увы, что он не останется здесь сидеть и потягивать из горлышка удобной бутылки для детей (с недетским пойлом). Он с ключами пойдет со мной наверх. Он сам откроет. Все же он был старше меня. (Как бы человек ни выглядел, его возраст сразу узнаешь, когда он поднимается по лестнице.) Мы одолели два лестничных марша. Затем подошли к небольшому залу для заседаний, где старый вахтер и открыл мне дверь. «Идите. Смотрите... А я пойду вниз», — в старике сработала некая деликатность. И непредусмотренным образом получилось именно так, как я хотел. Я ответил: «Хорошо». — «Там, в тупике коридора, некоторые воду не за-

крывают. Забывают закрыть», — и он прислушался, как бы вникая ухом в пространство второго этажа. Но было тихо. Вода нигде не шумела.

Возможно, это был лишь психологический момент — известное желание пояснить чужому человеку, что мы, мол, не только сторожим, есть и всякие иные сложности в нашей работе (только говорится, что сторожить — это спать). Но, возможно, тут был и неведомый мне житейский иероглиф, подразумевающий, что по какой-то причине я пойду в тот тупиковый конец коридора и зайду, к примеру, в туалет (тогда я, вероятно, не должен был оставить там кран открытым). Все это было не столь уж важно. Он ушел, спустившись по лестнице.

А я вошел. Я вошел в открытую мне дверь — и теперь обходил знакомый мне стол, собираясь за него сесть, как только мои глаза вполне его увидят. За столом стояло несколько стульев (как бы ожидая людей). Два были отодвинуты, как если бы, покидая место, человек резко встал, толкнув стул назад. Возможно, *Молодой волк*, подумал я. Продолжая двигаться, я мысленно их рассаживал. Я тоже сел на один из стульев. Была мысль сесть не как судимый, но и не как судящий, а просто сесть на равных и молчать, продолжая в полутьме видеть их всех и угадывать, кто есть кто. Потом я зажег свет (ведь я ищу забытые листы) — и вновь сел. Вполне удовлетворившись видом стола и стульев вокруг, я негромко засмеялся. Я испытал необыкновенный прилив сил: чувства переполнились, ладони мои (как и задумывалось) уже лежали на столе, я как бы нажимал ладонями на сукно и на плоскость сто-

ла, пробуя сопротивление старого дерева. В некотором возбуждении я даже слегка ударил кулаком («Ужо тебе!..»), приятно ощутив силу удара; это тоже сошло, ничего не случилось. А затем я протянул руку к графину с водой, не пить, может быть, просто взять его, но не дотянулся — немного, на спичечный коробок не дотянулся. Привстав, я протянул руку еще вперед, и тут (помню: ударило резко, как хлыстом) сильнейший удар в грудь на секунду-две лишил меня сознания. Я лежал, навалившись грудью на сукно стола, и все еще вытягивал вперед, к воде, левую руку.

Сознание не включилось вполне, но, несомненно, я жил. Я слышал свое слабое похрипывание (весь вместе с хриплым дыханием, вместе со своим телом, вместе с рукой, вытянутой вперед, я находился на середине стола, только ноги, свесившиеся к полу, ощущались где-то далеко). Страх не было. Иных чувств тоже не было: время поплыло, и я не знаю, сколько его прошло.

Старик-вахтер навверх не поднимался, вероятно забыв или же оставив надолго меня одного с моими интересами. Он так и не пришел — он поднялся навверх только вместе с ранней уборщицей, которая тотчас заохала и заохала, как это обычно делают пожилые женщины, без труда определяющие беду и даже степень беды: «Инфаркт! Точно тебе говорю: инфаркт — не трожь, не волокни его ни в коем случае!..» — «Мать его!..» — в сердцах сказал вахтер. «Не бранись». — «Он че? разве слышит?» — «Слышит», — они обходили меня кругом (не спуская с меня глаз, но спокойно, неторопливо), как и я какое-то время назад обходил стол, примериваясь к

нему узнавающим взглядом. Все же я мог упасть на пол (они озабоченно обсуждали именно это) — тело могло съехать со стола, грохнуться.

В свою очередь и я наблюдал из неподвижного положения, как среди многих известных мне персонажей, усаженных мною (мысленно) за стол, появились два непредвиденных: *Непьяница-вахтер* и старая *Уборщица-кардиолог* — они тоже участвовали, во всяком случае они тоже приняли, посоветовавшись, касающееся меня решение и выполнили его: они меня передвинули. (Старик-вахтер осторожно поднимал мои свесившиеся ноги, а старая уборщица с другой стороны стола, прихватив за плечи, подтаскивала меня к середине. Так что в конце осторожной их операции я уже весь лежал на столе, хотя и наискосок, но без опасности упасть.)

Графин был возле левой щеки (близко), значит, я в основном находился на правой стороне стола. Послышались голоса, но это были еще не врачи. Пришли они — те, кого я хорошо знал.

Искоса я видел медленно подошедшего *Старика*, и с ним *Секретарствующего*, и еще *Бывшего партийца* в светло-сером костюме: они негромко переговаривались. Моя фамилия уже называлась вслух: «Он?.. Почему?» — «Он как раз пришел. Нет, он по списку не первый, но пришел раньше». — «Разве его вызывали сегодня?» — туда-сюда сновала *Женщина, похожая на учительницу*, — она метнулась к дверям, недопустимо, чтобы так долго ехала «*Скорая помощь*». «Да ведь только что вызвали. Вахтер не догадался». — «Старый болван!» — сказал *Молодой волк из опасных*.

Кто-то из них, вероятно, стоял и с другой стороны стола, но моя поза — поза человека, лежащего на животе с вытянутой рукой и повернутой набок головой, — не давала их видеть. Заметив, что глаза мои моргают, некоторые из них перешли в ту часть обзора, который был мне доступен. Они смотрели на меня: я чувствовал их взгляд. Я задвигал губами, пытаюсь улыбнуться, с жалким шутливым оправданием — мол, лежу, занял ваше рабочее место. Мол, так получилось, прошу простить, *виноват*.

10

.....*Соц-яр* напорист. (У него нет выдержки.) Он сыплет словами, словно в нашей речи нет падежей, — он хочет задавить сразу, а там, под завалом слов (когда ты уже хватаешь ртом воздух и еле дышишь) — там можно будет подумать и о диалоге. Он сильно предубежден против интеллигентов.....

.....в ее глазах скорбь, словно это не я — она, *Седая в очках*, провинилась. (Точнее, ее сын — вот кто провинился. А вина на ней.....

..... Моя дочь.....жена.....А если в приватизированной квартире не прописаны?.....

Красивая женщина даже не смотрит на того, кого судят. О чем они говорят?! (Когда все сейчас только и думают о деньгах.) Отвернулась. Но иногда она вдруг добра. «Ну что вы задержали человека?!» — вдруг скажет

.....

.....

.....

.....*Секретарствующий* пишет, сидя напротив.....
Меж вами графин с прозрачной водой.....
на чистом листе дугу своей фамилии. (Искаженную кривизной стекла и воды. Через графин.)

.....

.....

.....

.....Как не помнить. Выходили гурьбой с очередного судилища, и один из них, поправляя шарф, говорил другому — а тот на ходу закуривал: «Да, да. Ты прав. Вопрос пустяковый». — «Какая разница, пустяковый или не пустяковый, клиент-то умер...» — и они прошли дальше, сворачивая к остановке троллейбуса. (Я клиент. И обольщаться не надо. Молодой сказал. И улыбался, показывая хорошие зубы. В

.....

.....

.....

.....*Молодой волк из опасных* обычно говорит, откинувшись на спинку стула. Он даже раскачивается на стуле, рассматривает тебя:

— Вы думаете, что люди вас не понимают?.. Люди понимают. Люди отлично вас понимают!.. Люди отлично вас понимают!..

И указательным пальцем он резко болтает из стороны в сторону — мол, не пройдет! не пройдет у вас играть в прятки, милейший!

.....*Женщина с обыкновенной внешностью.* Никогда не начнет спрос первой. Молчит. Но в глазах ее разгораются алчные огоньки справедливости. (А как быть, если люди эгоистичны? и если даже собственные дети не радуют? кому повем печаль?..).....

.....Это для них обыкновенно — отнять все (или почти все) у сидящего перед ними. Отнять, а потом вернуть. То обирать, то возвращать. В этом они, конечно, мельтешат и сильно отличаются от Бога, который дает жизнь лишь однажды. А если отбирает — то отбирает

.....когда страсти нагнетаются, сидящие за столом срываются в крик. *Социально-яростный* работяга вскакивает с места и тянется через стол — душить за горло: я узнал тебя, гад. Ты понимаешь, сука, что народ сейчас пашет и лес валит!.....

.....россыпь листков перед *Секретарьком-протоко-листом*, и по несколько листков перед каждым, карандаши тоже, вроссыпь — бери, можешь взять два. Вот